

Илона ЯКИТОВА



МЛАДШИЙ СЫН

18+

Илона ЯКИМОВА

Младший сын

«Автор»

2026

Якимова И.

Младший сын / И. Якимова — «Автор», 2026

Без попаданцев, только исторические личности, только хардкор. 1507 год, Шотландия. Фортуна крайне благосклонна к Патрику Хепберну, первому графу Босуэллу: отменное здоровье, блестящая придворная карьера, к которой он пристроил всех близких родственников, крепчайшая фамилия, которая встанет за него, если потребуется, стеной и дети – подлинное благословение. Старший сын – идеал рыцаря, второй и третий всегда достойны похвалы отца, вот разве что младший уродился не в масть, не в породу. Казалось бы, ничто не может пошатнуть могущество Хепбернов в Ист-Лотиане. Но дух времени веет, где хочет. Кто устоит пред его дуновением? И как выжить и стать самым сильным, когда ты самый младший и презираемый в семье? Основано на реальных событиях, приквел к серии "Белокурый".

© Якимова И., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Unblessed hand	6
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Илона Якимова

Младший сын

Шотландия, Брихин, декабрь 1557

Теперь, когда ее уже почти год нет в живых, мне самому осталось не так уж много.
И потому никто не подтвердит, но и не опровергнет мои слова.

*...где брат твой, Авель?
Разве я сторож брату моему...*

Unblessed hand

Шотландия, Ист-Лотиан, октябрь 1507 г.

Эсток вошел в живую плоть до упора.

Даже под стеганым охотничьим дублетом видно было, как вздулись мышцы предплечий, пока он удерживал секача на границе неизбежной смерти, не давая сорваться в жизнь. Я смотрел на него и думал, как же мы с ним различны, различны во всем.

Упор эстока устоял, кабан хрипел, псари отгоняли плетью собак, вгрызающихся жертве в подбрюшье и горло. Адам, взмокший от тяжелой работы, полоснул по трепещущему кабаньему животу дагой так, что открылась глубокая рана. Взял мою правую руку и окунул в кровь. А после указательным пальцем своей, также окровавленной, начертил литеру у меня на лбу. Я смотрел на ладонь: ее покрывала пеленой кровь – блестящая и липкая, она пахла сначала свежей жизнью, затем, свертываясь на воздухе – смертью.

– Это только начало, – заметил Адам. – Ты же – unblessed hand, Джон...

Начало и конец для тебя, Джон Хепберн.

Но что я тогда знал о конце? И что мог подозревать о начале?

Ясным полднем в конце октября мы отправились в леса вблизи Трапрейна. Мы – это я и Адам, понятное дело, Адам Хепберн, мастер Босуэлл, мой старший брат, старший сын и наследник господина графа. Мне сравнялось десять в том году, и вот он желал не просто приобщить меня к таинству охоты, но ввести во взрослость, обозначить, как мужчину. Ибо мужественность – то, к чему я подходил постепенно, последовательно, то, что искал всю жизнь, однако постиг, когда уже и не ждал. Возможно, потому что путь мой начался не как у всех: по достижении шести лет троих из нас, каждого в свой черед, оторвали от Хейлса, Адам отправился пажом в дом своего деда Хантли, Патрик и Уилл оказались у Хоумов. Отец не отпустил Уилла и Патрика в Нагорье, предпочтя родню по бабушке. Не могу сказать, что безбашенность этой семейки пошла моим братьям на пользу. А после по ним прошлишь Сомервиллы и Гленкэрны – двое средних сыновей Босуэлла появлялись дома лишь изредка, только чтобы чинить неприятности младшему. Я же именно в шесть перенес весеннюю лихорадку, надолго меня ослабившую, чем еще раз подтвердил бытовавшее у отца ощущение моей никчемности. Мать не доверила меня пажом никому. Джон станет мужчиной, сказала она, независимо от того, что вы о нем думаете...

Кабана подколот я, но добил его Адам. Правду сказать, в охоте самое любопытное выследить, не именно нанести удар, но брат в тот день требовал удара. Мы спустили собак и несколько минут смотрели, как секач расшвыривал их – он очень хотел жить, но, кроме того, глубинная ярость бушевала в нем от того, что твари эти, лающие вокруг, смеют покуситься на его свободу.

– Давай, – торопил мастер Босуэлл, – ну же! Выбери момент, ничего сложного...

Тогда мне не нравилось убивать. Я и вообще жил в мире, большая часть которого мне не нравилась, но примириться, склониться – то был не мой путь. Также начатый после шести.

Свежевали и разделявали тут же.

Мы чувствовали себя королями жизни, не знаю, как Адам, а я уж точно: уйти на сутки из Хейлса – что может быть лучше? Что может слаще отпечататься в памяти? Запах ранней осени в листве, во влажной земле, солнце на лице, запах свежей крови, запах разжигаемого костра, согревающего, обещающего негу, отдых усталым мышцам. В седле я блаженствовал, в драке

освежался, однако и протянуться возле огня всегда был не прочь. Мардж говорила мне, что я – кот, недоразумением посланный на землю человеком. Камышовый кот с берегов Тайна. Я люблю осень, хотя три утраты в моей жизни произошли именно осенью. Но это было потом. Тогда же, прикрыв глаза, я валялся на плаще у костра, следя, как радужные пятна плывут в щель полусомкнутых век, дробятся между ресниц... Адам же говорил. Со мной он чувствовал себя достаточно спокойно, чтобы почти всегда говорить. В бремени безупречности, которое висело на мастере Босуэлле, в броне совершенства появлялась трещина уязвимости, блик тепла – и в такие моменты я его особенно любил. Меня ему можно было не опасаться.

Раймонд Луллий, Мэлори и его «Смерть Артура», Жоффруа де Шарни, Вегеций... господин граф, не скупясь, набивал библиотеку Хейлса наилучшими образцами литературы, трудами о рыцарстве, ибо надо же было манерами соответствовать свежобретенному титулу, если не ему, то его сыновьям. Наследник Босуэлла должен был стать идеальным рыцарем, цветом рыцарства – выше, чем пресловутый Дуглас, – должен явиться красой и гордостью королевского двора. Вот только никто не спрашивал Адама, в какую цену доставалось ему то цветение добродетелей. Адам зачитывался романами, был поэтичен. Я же – нет, волшебный мир был сизмала чужд для меня, я видел вокруг лишь жестокую плотность реального мира, его хрящи, связки, жилы, мясо, содранную с него шкуру. И все это, правду сказать, казалось мне ничуть не менее привлекательным.

Адам приподнялся с плаща, чтобы подтолкнуть в огонь выпиравшую ветку. В этом был он весь – даже на огонь не способный смотреть спокойно, чтоб не принять участие. И продолжил начатое сравнение:

– Вегеций говорит прямо: молодой человек, сурового вида, со взглядом непреклонным, с прямой шеей, широкогрудый, крепкого сложения, с мускулистыми, крупными руками и длиннопалый, с широкими коленями, но узкими бедрами, и достаточно быстрыми ногами для бега и прыжков. Кажется, ты вполне подходишь под описание.

Мы спорили о том, какое тело необходимо мужчине, чтоб преуспеть в бою.

– Скорей уж, ты, Адам. Широкогрудый и с большими руками...

– Дело наживное. Тебе десять, и ты растешь. Нарастись!

Вообще-то он тоже еще рос – но уже больше в мясо, вширь, чем ввысь. В шестнадцать Адам Хепберн был почти на голову выше собственного отца, и только ему господин граф позволял подобное превосходство. Что Уилл, что Патрик, бедняги, сами собой начинали сутулиться, оказавшись вблизи родителя. Меня же чаша сия миновала. Мне было десять, верно, но я уже и тогда отличался от братьев, и знал это. И знал это не только я. Поэтому я просто кивнул. Это же Адам! Он не способен жить по-другому – только верить в хорошее, поступать наилучшим образом.

– Из тебя получится великолепный рыцарь, Джон, превосходящий прочих.

– Я никогда не научусь убивать.

– Я тоже так думал.

– Ладно. Я никогда не научусь убивать так, как это делаешь ты.

Я разумел – с той степенью отстраненности, которая лишает жестокости мяснический труд, однако он понял по-своему:

– Или ты думаешь, что мне это нравится – убивать?

Я не думал.

– Убийство животного, как сегодня, совершенное ради пропитания не есть убийство. Облеченное правилами, оно – уже искусство.

– То же, как полагаешь, можно сказать и про убийство человека?

– Язвишь! – старший хмыкнул. – Отец Катберт был бы недоволен...

А я, между тем, знал, что Адаму уже довелось. Весной граф, путешествуя по Приграничью в должности Хранителя Марок, взял его в Лиддесдейл – там и случилось. Граф хвалил

наследника, наследник помалкивал, не отвечая на подколы братьев. Я же не мог избавиться в себе от томительного, острого любопытства – и страха – ощутить, как клинок пронзает не кабанию, но человечесю тушу. Может, это и есть грех? Может, всему виной мое странное крещение – виной этой неодолимой, пугающей тяге?

– Убийство человека я никогда не назову искусством, – помолчав, молвил Адам. – Ибо мы разрушаем тогда оболочку божественного духа – оболочку, и созданную по образу Божию. Убийство – всегда грех. Но кто мы такие, чтобы сопротивляться предназначению, промыслу, поставившему именно нас с обнаженным мечом в руке – на страже основ этого мира? Нет, Джон, не насилие ради насилия, не насилие само по себе. Однако насилие, чтобы обуздать насилие – волей Господа и честью благородного человека.

Убийство, совершенное волей Господа и честью благородного человека... порядок в изначальном хаосе воздвигается странной ценой, однако вкус этой дихотомии я ощутил много позже. Тогда мне было хорошо – так хорошо, что помню спустя полвека. Брат видел меня рыцарем – в ту минуту я и был им. Его слова прикрепляли мне шпоры, обвивали перевязью под меч, покрывали мантией... А он говорил:

– Насилие – зло, Джон, но зло неизбежное. Насилие из рук человека добродетельного – способ изгнать дьявола из темных, осквернивших себя, больных духом. Кто, если не мы?

Насилие в Приграничье – не тема для обсуждения в беседах юношей, а воздух, которым дышишь, однако Адам дышал иным.

– Мы поставлены хранить и защищать. Мы, рожденные высоко. Знаешь, что означает древний девиз нашего рода?

– Иду навстречу.

– И это тоже. Но это если коротко, а так... «Не зови понапрасну, ибо я всегда прихожу на встречу». Ведь воздаяние неминуемо...

Солнечный луч осени играл в его глазах.

Адам, свет полдня. Я запомнил его таким. И таким всегда вспоминаю даже теперь. Ибо тогда мы были в раю. Ничто не было определено, но все предвкушаемо. Ни на одном из нас не было ни греха, ни скверны, ни крови, ни похоти – в тех пределах, к которым мы подошли позднее. Легкий топот, едва различимый – на границе слуха, затем явное приближение всадника в нашей стоянке, гомон и смех кинсменов. Гонец скатился с седла и, задышавшись, поклонился:

– Ее милость требует вас домой, мастер Адам.

Вот так рай и был развоплощен.

Когда я думаю о нем, то вспоминаю именно так, да... так. Адам – ясный полдень, но вечер никогда не наступит. Я был его пажом, оруженосцем, псом, ловчим соколом. Его соглядатаем и сторожем, если дело доходило до какой-нибудь шалости. Шесть лет разницы, и я любил его почти как Бога. Больше Бога, потому что Бога я не любил вовсе. Бог допустил, чтобы я родился четвертым.

Нас было шестеро в том краю, в своре детей Босуэлла. Когда мне говорят о гнезде, о счастье родного дома, мне хочется смеяться. Так-то я редко смеюсь искренно и от души.

Я появился на свет в конце марта, когда дороги в холмах превратились в ледяную кашу из грязи и талого снега, и гонцу потребовалось более полусуток, чтоб известить о том нашего отца в Эдинбурге, где он пребывал по случаю свадьбы моей тетки с Ричардом, герцогом Йоркским. Повитуха, принимавшая роды, сказала матери, что у меня крутой нрав и беспокойный дух, но я буду удачлив – ибо родился в сорочке. Я же родился до срока. По расчетам матери, рожавшей едва ли не ежегодно, мне следовало повременить, однако я не сумел – и всю мою оставшуюся жизнь прилагал огромные усилия, чтоб сдержать тот свой первый порыв, и не торопиться, не торопиться, не торопиться. Ибо гнев рода горел во мне острее, чем в прочих. Я появился на свет после их крупной ссоры, Патрика Хепберна, первого графа Босуэлла, и Маргарет Гордон

Хепберн, его второй богоданной супруги, но стал не плодом примирения, а только средоточием раздора. Те две недели, злосчастные две недели стоили мне даже не любви отца, но просто позволения быть, хотя бы и – быть одним из них, одним из своры. Дети подобны зверям – я не люблю детей. Единственная, кто вызывал мое счастливое недоумение своей нежностью – это, конечно, Маргарет, наша Мэри-Мардж. Одна девчонка в нашем, втором выводке, в котором последний – я. Последний из выживших, ясное дело. Роберт, родившийся после меня, умер семимесячным от весенней хвори.

Моим крестным отец выбрал своего дядю, Джона Хепберна, настоятеля собора Святого Андрея в Сент-Эндрюсе, приора – в те дни ему было чуть за пятьдесят, он вернулся из Европы, вдоволь постранствовав, и железной рукою управлял городом, и даже бывал не раз выдвинут на должность архиепископа Сент-Эндрюсского... случись такое, с нашей фамилией в королевстве и вовсе не стало бы сладу, потому Папа ни разу и не утвердил представление. В руках его тогда находилась малая печать королевства. Старый Джон – ибо меня вслед за ним в семье звали молодым Джоном – за делами и трудами не явился на крещение, прислав, впрочем, подарки, и его отсутствие позволило моей матери сделать странную вещь в традиции своей, горской, семьи Гордон Хантли. Моя мать, дочь горца и принцессы Стюарт, велела крестить младшего сына как *unblessed hand* – без погружения правой руки в купель. Узнав о том, граф Босуэлл в ярости удалил из Хейлса осмелившегося на сомнительное деяние замкового священника и месяца два не разговаривал с леди-матерью, однако сделанного не воротить.

Возвращаясь полями домой, я думал о том, что Адам, конечно, весьма силен в своих рассуждениях о высокорожденных. Однако история нашего рода, шотландской фамилии Хепберн, началась в Ист-Лотиане если не с придорожного камня – *trust*, как их называют здесь – возле которого рейдеры собираются на промысел на ту сторону границы, то с точки ничуть не более благородной. С одного проходимца и одной бешеной лошади. Разумеется, семейные летописи превозносили доблесть и достоинства Адама де Хиббурна, выходца из английского Нортумберленда, захваченного шотландцами в плен, но... уже тогда я умел задавать вопросы не только себе самому, что немало раздражало отца Катберта, который после истории с крещением наведывался в Хейлс исключительно в отсутствие господина графа. Его-то я и спросил, в чем же выражалось великое достоинство де Хиббурна, коли он долгие десять лет провел в шотландском плену, и никто из родных не поторопился его выкупить? Надо полагать, пренеприятный был человек, коли его не ждали домой. Дело кончилось тем, что чужак поступил на службу к графу Марчу, спас того от упомянутой лошади, получил в награду земли вблизи Данбара и Хаддингтона, а также голову той самой лошади – в родовую эмблему... А дальше? А что делает семя сорной травы, оказавшись на прогретом солнцем поле? Плодится и размножается. Бинстоны не сошлись бы с моей точкой зрения, как и Ваутоны, что вполне понятно для представителей побочных линий, но, говоря откровенно, отпрыски благородных кровей не бывают столь живучи, какими показали себя Хепберны двести лет назад. Нас стало много. И мы приходили на встречу. Более того, подобно паутине – тонкой, однако цепкой – охватили родством семьи Ист-Лотиана. Мы брали за себя женщин Дугласов – короли долин снисходительно отдавали нам бесприданниц. Мы брали богатых девиц от соседей, Бортсвиков и Хоумов, а сами старались продать своих невест повыше и подревней – Сомервиллам и Глеркэрнам, Монтгомери и Ситонам.

Но лучшим, жирнейшим браком стал тот, что даровал нам Хейлс. Кристина де Горлэй, единственная наследница старого норманнского рода, принесла его одному из бесчисленных Патриков Хепбернов в приданное в тысяча триста восьмидесятом.

Хейлс... место на карте Приграничья и рана в моем сердце, которую равно люблю и ненавижу. Три старые башни, три выхода на Тайн – и еще две надвратные, которые заложил первый граф, получив титул, но успел возвести их лишь в дереве. Пятиугольник неправильной формы,

разлегшийся на низком берегу Тайна, как старый, седой зверь в засаде – не самый старый и седой в этих краях, однако заматеревший прилично. Еще не достигнув стен родного дома, я видел их внутренним взором вполне. Сначала домик привратника, крошечный под раскидистым деревом, будто гномий, на берегу ручья Олд-хейлс, ровно в этом же месте делающего изгиб. Ручей имел свой голос, и говорил немолчно, и то было не журчание. Мардж вечно таскала крошки из пекарни – кормить ракушечников и фей. Вильнув два раза, ручей уходил влево, под холм. На другом же его берегу через сорок шагов почва поднималась в вал, обрывавшийся рвом, за рвом высилась стена с узким ртом ворот, с двумя надвратными башнями и стрелковыми галереями. Подъемный мост обычно бывал брезгливо поднят, поставленная отцом драгоценная кованая решетка – опущена. Что мы, Хепберны – чужаки здесь, что чужаки Горлэи выстроили тут первое разбойничье гнездо триста лет назад говорило ясней прочего именно это обстоятельство: вход в Хейлс обустроен с юга. Замок тылом обращен к границе, к Трапрейну, жерлами бойниц же направлен на Тайн и Мидлотиан. Что может быть прозрачней, чем подобная история рода, воплощенная в камне? И как Адам желает переписать ее? Я не мог взять в толк подобного прекраснотушения.

И чем ближе подъезжали мы к дому, тем скверней становилось у меня на душе.

Шотландия, Ист-Лотиан, замок Хейлс, октябрь 1507 г.

Мать стояла посреди двора, нимало не смущаясь тем, что подол высокородной леди может замарать грязь. Госпоже графине, возможно, не пристала бы подобная простота, но простота отнюдь не смущала дочь принцессы Стюарт, а она и после брака видела себя скорее принцессой, нежели графиней, и осталась куда высокородней мужа, не забывая это выказать при удобном случае, что весьма и весьма бесило супруга... В лице своей первой жены, тоже дочери принцессы, тот привык к большей покладистости. Госпожа графиня должна была бы взирать на свое хозяйство, сидя у высокого окна в Западной башне, в покоях графа, но дочь принцессы, как сама принцесса, могла позволить себе запачканные туфли, грязный подол, растрепавшиеся из-под чепца волосы – и еще тысячу отступлений от правил хорошего тона, если того требовала необходимость. И позволяла себе это с великолепным презрением к окружающим. Если же не посреди двора, то наблюдательный и командный пункт леди-матери находился на ступенях лестницы в холл – оттуда озирала она кипение жизни, внося в него свои правки.

Топот коней заставил ее обернуться к воротам, она не шелохнулась с места, пока ее окружали всадники, пока мы спешивались, пока коней вели в стойла конюхи, пока тушу кабана, голову его, вздетую на копье, битых зайцев и мелкую птицу слуги волокли в амбар и в кухни. От кухонь шел хлебный жар и запахи наваристых супов. Лицо Саймона, повара, красное и распаренное, мелькало в подвальном окошечке, он надсадно вопил на поварят, из подвала под холлом тащили припасы и выпивку.... Да, хочешь – не хочешь, а придется признать: Хейлс готовится принимать гостей.

Брат скользнул на землю с седла в блеске изящества, я – кое-как, поморщившись от боли в натруженных мышцах.

– Адам... – она взглянула на первенца, шагнула к нему, а после я ощутил – без взгляда – скольжение ее руки по моему плечу прежде, чем эта рука взлетела и легла на плечи старшему.

Мать никогда не скрывалась в своей любви. И львиная доля ее принадлежала первенцу, и еще – нашей Мэри-Мардж.

– Адам, вы удачно поохотились, я вижу... это кстати. Нам предстоит прокормить прорву народу. Джон, разве пристало благородному юноше ходить измазанным кровью, словно язычник?

Но любые укоры всегда скатывались с Адама, как вода с лебединых крыльев, горохом:

– Матушка, сегодня великий день, ваш младший сын возвращается домой, как мужчина, с трофеем... а вы гоните его умыться! Посмотрите-ка, какого красавца подколол Джон!

– Вот оно что! – леди-мать наклонилась ко мне, чтобы взглянуть в лицо. – Тогда прими мои поздравления, младший сын. Я горжусь тобой.

Когда олицетворенный ею дух ушел из Хейлса, этот мир переменялся навсегда.

– Явились! Достойные братья достойной леди! Только посмотри на них, Мардж!

– Разумеется, Джоан, ни один из них не будет достойным такой достойнейшей, как ты!

Два возгласа моих богоданных сестер стрелами впились в тело осеннего дня, одновременно. Пока Джоанна придирается, а Маргарет смеется, мир держится на своей оси. Обе они были старшие, но, рожденные от разных матерей, различны, как день и ночь. Моя, конечно, та, которая день – Маргарет. Джоанна, первенец моего отца от брака с Дженет Дуглас, дочерью графа Мортон от «Немой леди» Стюарт, ее единственное выжившее дитя, была воспитана моей матерью, но сызмала держалась особняком. Потому, возможно, что никто в семье, за исключением самого господина графа, теплых чувств к ней не питал. Да вот еще Маргарет – та и вообще любила всех без разбору. Бьюсь об заклад, она сумела бы даже в Уилле с Патриком найти что-нибудь хорошее.

Девушки появились как раз из дверей холла – словно поджидали нас. Одна – чтоб влить выговор за плебейский вид (а какой еще вид будет у охотника, проводившего сутки в лесной глуши в погоне за кабаном), вторая – чтоб посмеяться над первой и обнять братьев. Она и обняла, пока Джоанна сыпала эпитетами с редкой изобретательностью, казалось бы, несвойственной столь благородной, молодой и хорошо воспитанной леди.

О чем я ей и сказал.

Ее руку, занесенную для пощечины, перехватил Адам. Мать давно уже скрылась в холле, иначе бы сестрица попридержала себя при мачехе. А мастер Босуэлл только поднял бровь, взглянув на сестру. Приязни меж ними не было, но и вражды тоже. Адам не враждовал ни с кем, но каждого мог приструнить. В нем была спокойная власть – и твердое сознание, что он для этой власти рожден.

Так оно и было.

– Джоан... – только и сказал он.

– Щенок, – бросила она сквозь зубы и махнула юбками, спеша к себе в Восточную башню. Но с десяти шагов все-таки обернулась к нам. – Приведите себя в пристойный вид, вы двое. Ибо приближается сам король!

Адам даже не улыбнулся, хотя обычно попытки нашей сестрицы казаться святей ангелов весьма потешали его.

– И с ним приближается наш отец, что видит Бог, куда хлопотней, – молвил он вполголоса.

И куда хуже, прибавил я про себя. И как в воду глядел.

– Н – это что? – спросила Мардж, коснувшись моего испачканного кровью лба, когда старший направился к себе. – Хепберн?

– Надежда, – отвечал я хмуро, – что мне повезет, и я не застаю его милость графа и моих прочих братьев.

– Джон... Ох, Джон! Просто подчинись. Будь послушной. Неужели это так трудно? И все обойдется, поверь.

Она сама действительно верила. Я же подозревал уже, что где-то на этой странице книги ошибка. Женщины. Они по существу, по строению слабее, проще, площе мужчин, сложнее только в грехе. Им естественно подчиняться. Если, конечно, не брать в расчет Джоанну, той как раз неведомо обычное женское ярмо послушания – и в этом ее особенная гордыня. Но в

Маргарет, если приглядеться, не было присущего ей обычно солнечного света. Она как будто светила мне сквозь туман.

– Ты хмуришься? Почему? Не из-за меня же?

– Нет, конечно. Совсем не все неприятности в жизни случаются из-за тебя, Джон, – она улыбнулась. – Просто... нехорошее предзнаменование. Но я рассказала матери, помолилась, стало быть, все пройдет.

– Какое?

– А... – она, живая, как ртуть, казалась задумчивой. – Феи ручья нынче оставили хлеб нетронутым... Однако Джоанна права: помыться, переодеться не помешает. Едва ли ты понравилась *емус* перемазанным лицом и в паутине, собранной со всех орешников Ист-Лотиана.

Вряд ли я вообще ему понравлюсь – любим. Но что толку говорить вслух о том, что и так всем известно.

Чуть приобняла опять, вздохнула, поспешила убрать руки – на нас смотрели, ухмыляясь, двое крупных парней, почти одинаковых с лица, хотя и не были ни близнецами. Мои другие братья, Патрик и Уильям... Вот же принесла нелегкая их домой!

Я так явно помню себя десятилетним, стоящим на той лестнице, с перепачканным кровью лицом, что и посейчас иногда просыпаюсь ночью, ощущая на плече руку Маргарет. Хорошая память – порой очень большое несчастье, потому что ни боль, ни радость не меркнут, не тускнеют в душе.

Мы успели и помыться с дороги, и переодеться в чистое – король прибыл в сумерках. Джеймс IV никак не мог бы уклониться от двусмысленной чести навестить своего самого могущественного сторонника – и самого опасного, если говорить о тех, что на свободе, конечно.

Две возможности есть для благородного человека составить счастье своей фамилии: сместить короля либо приподнять того на своих плечах. Господин мой отец, Патрик Хепберн, в момент своего головокружительного взлета – еще только лорд Хейлс и второй барон Дансайр, не стеснясь, воспользовался обеими. Он был хорошего рода, внук первого Дансайра и первого Хоума, добрая кровь приграничного разбоя и злая природа голодного волка, отнюдь не верной собаки, кипели в нем. Дед его Хепберн Дансайр стал комендантом Бервика еще в ту пору, когда город был наш, стал и комендантом крепости Данбар, и – нет дыма без огня в тех слухах – сердечным другом вдовой королевы Джоан Бофор. Дансайр и сын его Адам, мастер Хейлс, не сдали крепость Бервика Глостеру даже и тогда, когда город уже был захвачен англичанами, и только изменнический приказ Джеймса III заставил Хепбернов сложить оружие. Александр Хоум, хранитель Восточной марки, принял под крыло внука, когда тот остался старшим в роду. Новоявленный лорд Хейлс и барон Дансайр изрядно помотался по Приграничью, гарантируя собой вечный мир с англичанами, истирая язык и штаны на переговорах с ними же в Ноттингеме. Скоренько он поднялся не только до наследственного места в Парламенте, до шерифства в Бервикшире, но и до положения провоста Эдинбурга. А провост Эдинбурга, знаете ли – тот человек, кто держит в кулаке и скалу, и предместья. За кого провост – за того и столица. Потому и когда Джеймс III так опрометчиво повел себя в деле о приорате Колдингема, старый паук, лорд Хоум сразу потянул к себе осмотнительного до той поры внука. Лорд Хейлс пораскинул мозгами, сложил что к чему, учел все шансы и вытянул из колоды карту наследного принца. Когда король бежал в Нагорье, долины встали за наследника. А тому было четырнадцать, и как ты себя покажешь, коли тебя выдали мятежникам, едва не связанного по рукам и ногам? Принца обманом вывезли из Стерлинга и поставили во главе восстания. Горластый, хрипатый Арчибальд «Кто-рискнет» Дуглас, граф Ангус, влил своих демонов в гушу мятежа, разбавил Хоумов и Хепбернов. Кто справился бы с лавиной их всадников на низкорослых приграничных лошадках, снабженных «щеколдами», ошетиленных джеддартами? Схватка при Сочиберне решила дело, удача отвернулась от короля – его нашли

мертвым после боя на мельнице, милях в трех, и то были не боевые раны. Никто не знал, чья рука нанесла удар помазаннику Божию, никто не был обвинен, указывали на слуг лорда Грея, но крайнего не нашли – так было удобней всем. И все бы ничего, кабы не первейшие назначения молодого короля Джеймса IV, сделанные на следующий день после Сочиберна, когда тело отца его, образно говоря, еще не успело остыть, не то что уж быть преданным земле: лорд Хейлс сделался графом Босуэллом, его дядя Александр Хепберн Уитсом был пожалован шерифством Файфа, другой дядя, Уильям, стал секретарем королевского суда. Брат графа Босуэлла Адам, сэр Крейгс, возвысился до конюшего короля, другой, Джордж, назначен был епископом Островов, а впоследствии он станет и хранителем сокровищницы королевства. В руках еще одного дяди Босуэлла, Джона, приора Сент-Эндрюса, моего крестного, пригласилась малая государственная печать.

Тогда, с тех назначений, и пополз липкий слухок, что не слуга Грея в ответе за смерть короля. Или уж точно не он один. Джеймс IV, как говорили, с юности носил на теле вериги – в покаяние за невольное соучастие в смерти отца, граф Босуэлл в сожалениях замечен не был. Однако все слухи о Босуэлле вскоре были оттеснены правдой его жизни. Вскоре за графством получил он от короля огромный Босуэлл-касл в Ланаркшире, потом лордство и замок Крайтона. Затем новоиспеченный король, побаивавшийся власти королей долин Дугласов в Приграничье, ласково предложил Арчибальду «Кто-рискнет» поменяться с Босуэллом – отдать тому Хермтейдж-касл в обмен на Босуэлл-касл. От такого предложения, да еще сделанного королем, кто же посмеет отказаться? Позиции государственного канцлера графа Ангуса пошатнулись, маятник качнулся в сторону выскочки из Хейлса, за которого вдобавок стояли неуправляемые никем, кроме своего старого лорда, Хоумы. Корчась, «Кто-рискнет» отдал Хермтейдж – величайшее сокровище, ключ Границы, Караульню Лиддела – не мог не отдать, но прежней королевской милости себе не возвратил. Да и то сказать, как чувствовал себя молодой король среди этих хватких сорокалетних бойцов, которые сожрут и не спросят, как звали? Неуютно, я полагаю, несмотря на королевское достоинство. Королевское достоинство, извольте видеть, не помешало Джеймсу I быть заколотым в сортире, а Джеймсу III незапно «оказаться убитым» вне поля боя... Словом, «Кто-рискнет» отдал, подвинулся. Старого лорда Хоума уже не было в живых. Бойдов прижали еще в конце шестидесятых, до возвышения Гамильтонов было порядком далеко, по фамилии Дуглас как будто бы рябь прошла. Новоиспеченный граф Босуэлл принялся неторопливо подъезжать прежних друзей, потому что делиться милостью короля в его планы не входило. Вершиной же истребления несогласных стала ссылка в Дамбартон и на Бьют самого Арчибальда «Кто-рискнет». Босуэлл оказался сильнее, и сожрал, как волк доживает лиса, и зарыл останки – на шесть долгих лет. При нем Дугласам не видать было прежней славы. И остался один на поле боя, озираясь, весьма довольный собой... Великий и могучий Патрик, первый граф Босуэлл, лорд Хейлс, барон Крайтон и лэрд Лиддесдейл, хранитель Трех марок королевства Шотландия, лорд-адмирал шотландской короны, шериф Бервикшира и Хаддингтона, провост и констебль Эдинбурга, хранитель Эдинбургского замка.

Все это я собрал по крупницам, по обмолвкам из того, что блуждало в семье и около за полвека – и отвечаю за то, о чем говорю.

Сперва во двор влетел запыхавшийся от спешки гонец, затем люди лорда Ситона и сам Джордж Ситон, и тотчас вскипела суета, домашние и слуги прыснули врозь, собрались вместе, выстроились. Мы – графиня Босуэлл и ее дети – ожидали на ступенях лестницы в холл Хейлса. Там было двенадцать добрых дубовых досок, ведущих вверх, вытертых за сто пятьдесят лет сапогами полусотни человек рода, подновленных моим прапрадедом и с той поры вытертых снова. Их поверхность, которую я сейчас пристально рассматривал, напоминала старческую кожу, вытемненную солнцем. Мы с Маргарет стояли в первом ряду, за нами – Патрик и Уильям, еще выше располагались графиня со своим первенцем. Джоанна, едва завидев

Джорджа Ситона, устремилась ему навстречу – до их свадьбы оставалось полдня, мать смотрела на их милование сквозь пальцы, рассчитывая побыстрее сбыть падчерицу из дома.

Глядя на леди-мать, никто бы не заподозрил, что перед ним та самая рачительная до простоты хозяйка, какой она явилась своим детям всего несколько часов назад. Теперь то была горская принцесса, дочь Хантли и принцессы Стюарт. Не припомню ни одного парадного платья Маргарет Гордон Хепберн, которое не было бы отмечено и строгим вкусом, и необыкновенной роскошью – при том, что и не припомню визитов леди-матери ко двору, хотя, вероятно, они случались. Церковь в Хаддингтоне, Престонкирк, престольные праздники да визиты гостей – вот на что она могла рассчитывать, но едва слуги короля постучали к ней в ворота, их были готовы принять здесь не хуже, чем в Эдинбургском замке. В тот день мать была в винно-красном, и от нее слепило глаза.

Мардж крепче обвила руками меня, когда ощутила, как деревенеет мое тело – я чувствовал его приближение кожей. И привалился к ней, насколько позволяло сестрино нарядное платье, снабженное расшитым, колючим плакардом.

– Гляди-ка, Мэгги отрастила себе младенчика и уже нянчит! Мэг, а Мэг, ты же собиравшись в монашки.

Тут главное не оборачиваться, потому что я же плюну ему в рожу сразу, не удержусь, и тогда они с Уиллом примутся лупить меня, не смущаясь вероятным присутствием Его величества.

– Папенька не велит в монашки. Ты болван, Патрик Хепберн, – отвечала Мардж, также не оборачиваясь, не ведая и бровью.

– Заткнись, женщина.

– И мужлан тоже, раз говоришь подобное благородной леди.

– Скажи-ка отцу, что он – мужлан, я посмотрю на тебя!

– Он такое не говорил мне ни разу!

– Не тебе, а... – но тут до Патрика дошло, и он осекся.

Никто из нас не повторил бы вслух то, что порой срывалось с губ господина графа в адрес леди-матери, просто не смог бы. Наказание было бы скорым и неминуемым от обоих. Уилл же в то время, пока они препирались, исподтишка колол меня кончиком поясного ножа, но я поклялся себе, что не дернусь, даже если он проковыряет дыру в моем бедре. Хорошо еще Джоан не слышит нашей перепалки, стоя рядом с нареченным – изошла бы на желчь, как та гадюка на болоте. Я решил рассматривать Ситона, раз уж надо было на чем-то сосредоточиться. Лорд Джордж имел лет около тридцати, был сухощав, долговяз, не придется нагибаться к жене... в общем, добрый малый, что он и доказал, с честью служа короне. Но я бы не счел его чем-то выдающимся.

Волынки на стенах взревели. Сперва зазвучал «Бег белой лошади», затем «Стюарты идут». В узкие ворота Хейлса под прославленную кованую решетку первым ступил жеребец господина графа Босуэлла, и когда всадник на мгновение замедлил под сводом ворот, пронзив взглядом двор, мне показалось, что в подреберье вошла стрела. Кинсмены заволокли двор. Граф тем временем уже спешил за десять шагов до лестницы в холл, всходя по ней легко – несмотря на пятьдесят три года от роду. Он двигался как животное, как рысь, как сатир – походкой дикой и своенравной. Ни один из нас не был похож на него, и только через поколение я узнал ту же повадку в его правнуке, крещеном в честь следующего короля Джеймсом. Пылали факелы, закрепленные на стенах и холла, и часовни, и башен, и в их мятущемся свете люди казались столь же мятущимися, неверными, обманчивыми, рваными тенями, и впечатление это усиливалось блеском расшитых дублетов придворных, клубящимися плащами и мантиями, пеной перьев на боннетах. И только один человек выделялся в море голов кинсменов и слуг, подобно маяку в буре – господин граф и лорд-адмирал.

Он очутился вблизи значительно раньше, чем я был к тому готов, чем мне бы хотелось.

Леди-мать подала руку супругу и предоставила уста. Наследнику позволялось приветствовать его поклоном. Дочерей он целовал. Нам же, прочим троим, надлежало приложиться к руке, которая, согласно Писанию, любя, не жалела розог для нас. Я сухо, коротко коснулся губами рубина в старинном перстне, угнездившемся на фаланге указательного пальца, с трудом подавив в себе желание вцепиться зубами в живую плоть. Пожалуй, он правильно бил меня.

А уже потом я поднял на него глаза.

Ростом он был всего около пяти с половиной футов, но места занимал в пространстве куда более, чем собственно его тело. Вес, объем, плотность пятидесяти трех лет силы, ярости, коварства, жестокости были сродни металлу, как если бы он был заживо отлит из бронзы. Кого ни спросишь из стариков – расскажут, что первый Босуэлл был здоровяк, вроде старших его сыновей... никто не помнит, как этот в сущности небольшой человек сумел поставить себя очень крупным, очень большим и тяжелым.

Он занял место на ступени за нашими спинами, от него пахло осенним лесом, дорогой, сыростью, влажной звериной шерстью – и руки Мардж отпустили меня. Я затаил дыхание, а чета Босуэлл тем временем беседовала:

- Была ли приятна дорога, милорд?
- Благодарю вас, госпожа моя, вполне. Что нового?
- Господь миловал. Джон сегодня добыл кабана.
- Какая чушь. Долго ли вы, леди, будете верить всему, что он врет?

Если бы я свалил с эстока кабанью тушу ему под ноги, он бы и тогда усомнился. Острый взгляд леди-матери впился в его лицо, но она быстро погасила гнев:

- Адам там был и видел.
- Так, должно быть, Адам и завалил кабана? Он вечно выгораживает меньшого, а теперь, выходит, и врет в его пользу. Это скверно, леди, что вы позволяете своим сыновьям врать.

«Своим сыновьям». Мы сразу становились ее детьми, как только переставали угождать ему. Обычно же Босуэллу завидовали за плодовитость и добротность потомства – четверо выживших парней и всего две девчонки. Одну из которых выдают замуж завтра, слава Тебе, Господи. Видеть Джоанну влюбленной настолько странно, что самым лучшим было бы не видеть ее вообще. Адам не успел ответить на обвинение, ибо взревели трубы, и двинулись, вливаясь поочередно в створ ворот Хейлса...

Трубачи Его величества.

Копейщики Его величества.

Егеря и соколятники Его величества.

Господин главный конюший Его величества с ливрейными слугами Его величества.

Псаря Его величества и свора гончих – присутствие на свадьбе никак не отменяет развлечения охотой, скорей, даже напротив, надо же заняться хоть чем-нибудь дельным.

Постельничие, кравчие, грумы личных покоев – король на сей раз путешествует налегке, видно сразу, и не стал брать с собой из столицы обширную свиту.

А также его милость епископ Островов собственной персоной, с клириками и прислугой. Этих-то мы куда разместим, хотел бы я знать?

Двор Хейлса был до краев залит приезжими – еще немного, и они выплеснутся в Тайн. Тесно, громко, многоголосое, невыносимо ярко для глаза. Красный, желтый, багровый, золотой. Лев и единорог гампант на каждом штандарте. Трубы и трубы, снова и снова, словно есть необходимость оповещать многократно, восхищать и глухих. И очень много людей. Человеческая толпа билась о подножие лестницы, где мы стояли, лизала ступени, выхлестывая вверх языки боннетов, плюмажей, развивающихся кудрей, как пенные гребни волн. А вот и он сам – высокий, атлетического сложения, верхом посреди двора. Мигом вокруг королевской кобылы очистилось пространство и, помедлив, приняв ритуальную помощь конюшего, он спешил

– спокойно, почти с ленцой. Босуэлл приближался к нему через расступавшуюся толпу, трое старших сыновей сопровождали его, и все вместе они преклонили колени. Я же рассматривал короля – когда еще доведется? Треугольное лицо, тонкие губы, светлые глаза, сын датчанки и полуангличанина, он был отчетливо северной породы – рыба кровь, похотливость, безжалостная мстительность. Но когда в нем загорался интерес, к человеку ли, к вещи, Джеймс мог становиться обаятелен, приветлив, любезен. Так и теперь: он скоро и небрежно поднял Босуэлла, не обратил ни малейшего внимания на двоих младших и выделил своим любопытством только лишь Адама.

И... потрепал того по волосам, как треплют ухо породистой собаки.

– Какой, однако, прелестный постреленок... вам следует чаще брать его с собой ко двору, Босуэлл.

Назвать прелестным постреленком молодого человека шести футов росту, косая сажень в плечах? Голова Адама почтительно склонена, и хорошо, что король не видел этого взгляда – я же подумал, что Джеймсу трудненько придется с графом Босуэллом впредь, когда этот титул наконец перейдет к моему брату. Зачем же он сознательно оскорбил наследника одного из сильнейших людей в королевстве?

– Мой сын предпочитает сельскую жизнь, – чуть усмехнувшись, отвечал нынешний граф за будущего.

– Предпочитает... – король передернул плечами. – Во дни моей молодости юноши, как и подобает, делали то, что им приказано, отнюдь не то, что предпочитали. Вы – мягкий человек, Босуэлл... Госпожа кузина!

Леди-мать выступила вперед:

– Высокая честь для меня, Ваше величество, и радостный день – приветствовать вас в нашем скромном доме.

– Миледи Хепберн, счастлив видеть вас вновь – осиянной добрым здравием и красою. Вы не меняетесь с годами – и не надо! Мне стоит прислать к вам в гости королеву, дайте ей наставления, как сохранять себя неизменно прекрасной, равно и плодovitой.

Ого, и по своей жене проехался также! Они женаты четыре года, и к браку с Маргаритой Тюдор граф Босуэлл причастен несомненно – настолько, что сам его и свидетельствовал в Лондоне. Интересно, был он ли среди тех, кто приложил руку к отравлению девиц Драммонд? Об этом судачили более полугода даже у нас.

Тонкие губы короля, изогнутые в легкой усмешке, сеяли плевела так легко, что их было не отличить от зерен привязанности. Джеймс Стюарт повернулся на каблуках к дамам, чтоб отпустить новую – подчеркнуто мужскую – остроту в адрес моих сестер, не смущаясь тем, что одна уже помолвлена, другая – девица.

И споткнулся о мой взгляд.

И тотчас, словно король увидел нечто слишком знакомое и потому отталкивающее, маска любезности слетела с его чела – только лишь на мгновение – и изнутри него показался человек холодный, разочарованный, вечно настороже.

– Парни, да вас не узнать! Вымахали за лето вдвое, – похлопывая плетью по высокому, заляпанному грязью сапогу, подле нас стоял Адам Хепберн, сэр Крейгс, королевский конюший. Младших братьев у отца двое, и оба сейчас пожаловали в Хейлс вместе с королем, вторым был Джордж, епископ Островов, прибывший заключать брак племянницы. Не то, чтобы Хепберны не доверяли священникам Ситонов, но Босуэлл любые вопросы предпочитал решать по возможности внутри семьи. Для чего и расставил родственников на все сильные места в королевстве.

Уилл, Патрик и Адам удались вот именно в эту породу Хепбернов, которую олицетворял собой Адам Крейгс – мощный, высокий, ширококостный, темноволосый и темноглазый.

Жизнь переливалась в каждом мускуле его тела, в каждом движении, несмотря на пятый десяток лет. Дядя Джордж был совсем иным – тоже высоким и широкоплечим, но в теле, светлей лицом и мягче, лукавее Крейгса, как оно и полагалось священнослужителю. Он окончил колледж Девы Марии в Сент-Эндрюсе, начинал секретарем королевского совета, а теперь, как поговаривали, тишком прибирал к рукам и королевскую казну целиком – за старостью и слабостью действительного казначея. Острый ум и хитрость Хепбернов, возведенные в принцип, обширное тело, дававшее обманчивое впечатление мягкости, тепла, миролюбия. Один из тех неизмеримо обаятельных толстяков, которые легко перешибут вас ударом богато изукрашенной епископской палицы – только зазевайся.

– Джонни! – и прежде чем мне в лицо чуть не врезался пастырский аметист для поцелуя на левой руке, правая его лапища обхватила меня за плечи. – Здорово, сынок. Да хранит вас Господь, дети мои.

После того, как Хейлс горел, я не бывал там – что проку ходить по камням, которые более не хранят голосов минувшего? В те же годы, годы моего умаления, когда охотней всего сжег бы его сам, если б сумел – Хейлс был великолепен. Двенадцать ступеней по лестнице вверх, в холл, каждая доска – толщиной в руку взрослого мужчины, пропитанная льняным маслом для блеска, натертая подошвами башмаков. Плотные занавеси, разделяющие арку входа, отсекали тепло жилого гнезда от наружной сырости. Направо в центре зала – знаменитый камин Хейлса, огромный, пышущий жаром, с гербом Хепбернов Босуэллов над ним. Налево стена завешена шпалерами – старыми, с мирно поблекшими цветами шерстяных нитей – с изображением битвы Рейнара и свирепого Изенгрима. Леди-мать привезла эту шпалеру с собой из Хантли, как часть приданого, и поговаривали, что Лис Рейнар родом из Холируда, видевший еще мою бабушку Анабеллу Стюарт. Вдоль короткой же стены, теплой, ибо она примыкала к донжону Горлэя, на помосте стоял стол хозяев, застеленный узорчатым дамаском, алым с золотом, поверх которого – туго натянутой белой скатертью, вышитой руками леди-матери и моих сестер. Стену за ним украшала шпалера с видами Камелота, прибывшая с юга вместе с нашей нынешней королевой. Много часов провел я, созерцая вереницу рыцарей на тонконогих лошадаках, вытекающую из замка... вдоль долгих же стен холла стояли столы для простых, но сегодня в Хейлсе за столом простых не будет, каждый гость чином не ниже оруженосца. Со стропил потолка свисали штандарты: голова белой лошади с разорванной уздой и девиз, «не зови понапрасну...», как сегодня напомнил Адам; герб Хепбернов Хейлса и Босуэллов – львы rampant, стропила и роза; герб леди-матери, поделенный на четверти, где были и королевские лев с единорогом, и вепри Гордонов Хантли; и совсем высоко, всеми забытый – герб покойной Дженет Дуглас, дочери графа Мортонна, матери Джоанны: сердце Брюса и три звезды, поделенный пополам со львами и розой Босуэлла – единственное, что сохранилось от нее в Хейлсе. Под стропилами, чуть ниже штандартов, вдоль по стене шла галерея менестрелей, выход на нее был прорублен из донжона, а спуститься можно было и ко входу в холл. Когда бы не строгий наказ леди-матери, видит Бог, я сделал бы то же, что и всегда – удрал туда, на уровень голубятни, чтоб следить за пирующими людьми сверху, не принимая участия в их жизни, так часто меня ранившей... занятие, к коему имею известное пристрастие и теперь – наблюдать, не вмешиваясь.

И вот я смотрел, смотрел и смотрел.

Скромное семейное пиршество, задача которого – наскоро накормить хозяина и его гостей. И родовитые гости занимают места настолько плотно, что напоминают сельдей, сложенных на просолку в бочке. Пажи и поварята расставляют блюда, разносят тренчеры из чистого пшеничного хлеба, чаши для похлебки – на нижнем столе по одной на двоих едоков. Вот Его величество занимает место во главе стола, меж двух братьев Хепбернов, Босуэлла и Крейгса – обрамленный ими, он казался словно находящимся под стражей. Или это казалось только

мне, потому что нечем было занять скучающий ум? Я видел, как взор его падал на все – края скатерти из дамаска, серебряный бок солонки, оленью ногу, заячье жаркое, кубки вина и воды, поставленные вблизи. И чем горел этот взор, я видел тоже. Но господину графу до того было мало дела, он простер руку к солонке, дабы открыть пир, дядя Джордж произнес краткое благословение, и трапеза потекла.

– Это ли вы называете скромным ужином с дороги, мой... друг? – король откинулся на спинку кресла, рассматривая блюда. – Восемь перемен, неужели?

– Шесть, Ваше величество. И только послезавтра будет двенадцать – в честь великой милости вашего посещения и ради свадьбы моей старшей дочери.

Наверху, над нашими головами виола, флейта, лютня и тамбурины скрашивали пищеварение знатных господ, сопровождая нежной мелодией куски, исчезающие в разверстых глотках. Граф Босуэлл выставил пробователем еды и пажом для короля собственного старшего сына, тем самым обещая, что никакой угрозы для высокого гостя в Хейлсе нет. Адам, безупречный во всем, что делал, стоял у высокого стола на помосте, с перекинутым через плечо полотенцем, с чашей для омовения рук наготове, с ножом, которым рассекал каждое новое блюдо, безошибочно выбирая лучшие куски. И только я видел, что он бледен от усталости. По правую руку от господина графа изваянием недвижимым и безупречным восседала моя мать в винно-красном, по левую руку от Крейгса помещались Джоанна с Ситоном и Маргарет. Что ж, это дело, высокий стол и должен быть украшен девицами, не одной же телесной пищей угождать гостям. Мы же втроем – я, Патрик, Уилл – сегодня обретались за столом нижним, и это меня более чем устраивало. Нет, не кабацкие застольные шутки Патрика, не одобрительное мычание Уилла... юноши на первом приближении к взрослости порядком смешны в своем стремлении грубо подражать взрослым мужчинам. Меня весьма устраивало, что, уязвимый для их скверного обращения я был, тем не менее, укрыт от излишнего внимания с высокого стола. Находиться под взглядом господина графа, и лорда-адмирала, и прочая, значило для меня тогда ошибаться беспрестанно, чем бы я ни занимался.

Жаркое из зайца с подливой из заячьего ливера и крови, сдобренной имбирем. Цыплята по-ломбардски в изобилии перечного соуса – такое впечатление, что старому Саймону велено не скупиться на специи, пускать пыль в глаза королевскому двору... или, вернее, перечную труху. Щука, окрашенная шафраном. Пироги с начинкой из грибов в сливках король, я заметил, отклонил жестом, несмотря на то, что Адам отведал их на глазах всех присутствующих – что ж, мера разумная. Тем временем, внесли кабанью голову.

– Какое роскошное дополнение к «скромному ужину», дорогая кузина... Ваш трофей, Босуэлл?

– Нет, Ваше величество. Кабана добыли мои сыновья.

Патрик с Уиллом переглянулись, разулыбались, расправили плечи, даром, что их никто не видел за нижним столом на верхнем – но и болтовни среди людей Крейгса и клириков, окружавших нас, тоже было достаточно. Ужин столь обилен, что остатками его нам предстоит питаться не менее недели, право слово. А вскоре готовить еще и пир свадебный... Холодное мясо пойдет заново в пироги и похлебку, мать бережлива.

Король поднялся от стола, позевывая, отпуская комплименты дамам, смерив Мардж таким взором, что та, бедняжка, покраснела. Сегодня Джеймс Стюарт отойдет ко сну в постели человека, который, возможно, убил его собственного отца – как не боится-то? На время визита короля супружеская спальня графа Босуэлла в Западной башне, в третьем ее ярусе, предоставлена к услугам Его величества. Конюший короля последовал за господином, граф предложил руку леди-матери, я же улизнул на галерею, как и мечтал, и оттуда уже, паря вместе с воркующими вслед гостям флейтой, виолой и лютней, наблюдал за расходящимся в кулисы представлением. И засиделся на жердочке до того, что не только факелы на стенах, но и угли в камине начали гаснуть. Час волка был в самом разгаре, спать хотелось невероятно, ноги сво-

дило судорогой от холода, но я подбирал их под себя и отсиживал, чередуя. Уилл с Патриком вернулись, но не идти же к ним? Мы втроем делили комнату в Восточной башне, сразу над покоями сестер. Не нужно быть провидцем, чтоб знать, что мои вещи уже скинуты с кровати в соломенную выстилку пола. Спать все равно не дадут. Я съехался поудобней в углу галереи – там, где был вход из донжона Горлэя, стена была еще теплой.

И остался один, чтобы думать.

О чем я думал тогда?

Это только кажется, что возраст человека не дает ему чувствовать боль, горечь, страсть, скорбь, не дает желать тепла – или власти – столь же страстно, как взрослому. В мои десять лет я жаждал власти, потому что думал, что она даст мне любовь. Когда бы не та ошибка... Я думал о том, как мало у меня сил, и как несправедлива ненависть, и как бы я хотел быть рыцарем сильнейшим над многими, чтоб они поняли, раскаялись, открыли объятия. Чтобы мне наконец было возвращено место в сердце отца. Стена за моей спиной остывала, и я поежился. Да есть ли у него сердце вообще? Трудно отвечать утвердительно. И вот я думал о том, как если бы, когда-нибудь, волей Господа они, все они оказались бы в моей власти... если бы оказались, я бы разил милосердием, не мстью, несмотря на наш древний, безжалостный девиз. Я бы цвел милосердием, и они бы приняли меня, не могли б не принять.

Но несколько часов оставалось до событий, полностью переменивших мою судьбу.

На другой день поутру Его величество в сопровождении хваткого Крейгса и веселого епископа Островов унеслось в поля – потешить свору, размять ноги. Господин граф, напротив, после долгого отсутствия остался за делами в Хейлсе. Свадьба старшей дочери, приготовление рыцарского турнира в честь этого события, съезд гостей от фамилии Ситон – хлопот было достаточно. Хейлс начинал дышать по-другому, стоило лишь хозяину ступить на порог. Мужская рука чувствовалась во всем, не женская. И я тоже хотел быть мужчиной, но не понимал, что это значит, потому что большую часть времени оно означало – причинять боль. Господин граф был в этом деле великий мастер, посему, не ища неприятностей, в его визиты я проводил время обычно, затаиваясь по углам, наблюдая, прислушиваясь. Труда это не составляло, в Хейлсе теперь достаточно людей, чтоб нагнать шуму и без меня. Джоанна мечтала о Ситоне, это спасало меня от ее нравоучений, Мардж пришла в ужас от острот короля и засела за вышиванием у себя в Восточной башне, Адам спасался на конюшне, самолично чистя и обихаживая гнедого, и только Уилл с Патриком шатались по двору, разевая рот на вышитые ливреи и штандарты придворных, но с тех моих братьев спрос короток, умением заглядывать в темные углы они никогда не отличались. Все вместе мы сошлись в тот день только за обедом. Единственное испытание, которое мне выпало – приветствием, когда граф и лорд-адмирал явился в холле.

Леди-мать склонила голову, дочери присели, сыновья поклонились – он кивнул, и лишь затем было позволено сесть к нижнему столу, Уиллу же и Патрику велено было показать, чему научились у Хоумов – пажеские умения рассечь жаркое, нарезать хлеб, подать гостям. Обед прошел чинно, без хлопот и ссор, даже мы в нашей семье порой такое умеем. Бок вчерашнего кабана, желанного моего трофея, моей овеществленной взрослости... за нижним столом наливали эль, отнюдь не разбавленное вино, но я не чувствовал вкуса, мне все было как вода и зола. Патрик с Уиллом разносили блюда, умудряясь скинуть мне на тренчер кости без малого количества мяса, пока Адам просто не придержал за руку одного из них – так придержал, как он умеет. Джоанна чинно отщипывала крошки от корки хлеба, отправляя их в рот, Мардж выжидала сладкого. Интересно, пойдет ли она кормить своих фей яблоками в меду?

– Довольны ли вы обедом, мой господин? – мимоходом осведомилась леди-мать, складывая на край блюда ложку и нож. Соединяясь вместе, предметы прибора издали звук, схожий с лязганьем оружия.

Удивительно она умела делать вид, что все благополучно, хотя камеристка ее Роуз уже ходила с красными, сухими от соли глазами, а ведь и суток не прошло, как Босуэлл вернулся домой.

– Вполне, благодарю вас.

– Коли так, надеюсь, и сердце в вас помягчает, не токмо желудок, – обронила графиня безжалостно точно. – Радость вашего возвращения к нам, о муж и отец, да не умалится жаром вашего гнева на малости наших прегрешений. Особливо несуществующих...

Взор, которым наградил ее граф, был достоин кисти лучшего живописца. Жалею, что не могу точно его описать. Скажу одно, на любимую женщину, на женщину вообще так не смотрят. Мать никогда не забывала, что снизошла. Отец никогда не забывал, что кровь сыновей выше, чем его собственная. Пожалуй, он и мстил нам ровно за это. И выждал, покуда леди-мать первой покинула холл – ей предстояло управиться со сбором невестиного скарба назавтра. Падчерица и дочь госпожи графини встали было за нею следом, однако отец поднял взгляд от тарелки:

– Девицы!

Те снова присели.

– Джоанна!

Нота тепла, возникавшая в его голосе, как луч солнца в холодной воде, едва он смотрел на Джоанну, каждый раз меня удивляла. И наполняла завистью нас всех, всех пятерых, готов в том поклясться. Ну, хорошо, кроме Маргарет – та вообще никому не завидовала, святая.

– Джоанна, поди сюда... вот, возьми! – он вынул нечто из поясного кошель, протянул дочери. – Мой маленький дар тебе, завтра будет большой... ты станешь леди Ситон, я рад. А ты?

– Благодарю вас, отец. Как вам будет угодно, отец, – но она лукавила.

Взгляды, которые Джоанна бросала на Джорджа Ситона, могли каменную стену прожечь. Лорд-адмирал так и понял. И усмехнулся:

– Джоанна была бы лучшим мужчиной, чем трое вас, взятых вместе, – сказал он сыновьям за нижним столом. – Она одна меня не боится... настолько, что не боится врать. Не так ли, девонька?

Джоанна улыбнулась, и столько ненависти, столько превосходства на миг отразилось в ее лице... мы могли творить что угодно до тех пор, пока отец говорил о ней – о ней одной – в таком тоне. Ничто бы из наших подлостей не могло бы задеть ее.

– Ну, я этой суке припомню, – произнес Патрик вполголоса, Уилл согласно кивнул.

Господину графу доставляло удовольствие стравливать нас между собой, но те двое этого так и не поняли – до самой смерти родителя. Он называл нас: свора. Впрочем, мы такими и были. Девиц же из круга своего неусыпного внимания граф выключал, девицам было достаточно хорошо выглядеть, чтобы заслужить его одобрение, а уж если удавалось чуть-чуть вышивать и читать! Джоанна, впрочем, недурно держалась в седле и еще лучше стреляла из арбалета, умения, заметим, не самые обыденные для благородной девицы.

– У тебя осталось полдня, – сообщил я вполголоса, – иначе придется иметь дело с Ситон. В кости ты шире, но рука у него длинней. Да и старше тебя он в два раза.

Мне прилетело, но я увернулся, Патрик выругался сквозь зубы.

Однако это привлекло внимание господина графа к нижнему столу:

– Адам, как там было дело, с тем кабаном? Ваша мать сказала, что его добыл... Джон?!

Имя мое прозвучало, окрашенное недоверием и безразличием.

– Так и есть, милорд, истинный крест. Мы гнали зверя около суток, дважды теряли след, потом свора взяла его снова...

– И Джон все сделал сам от начала и до конца?

– Ну... я немного помог ему... в самом конце.

Адам, эх, Адам... он не мог бы солгать даже ради спасения собственной души, однако в тот раз похоронил меня заживо своей честностью. Не думая о том, что ложь все равно бы вскрылась, как же я хотел тогда, чтобы он солгал!

– А так он все сделал сам. Видели бы вы, как ловко он управляется с эстоком, милорд!

– Значит, это все же был ты.

От того, как он сказал это, в зале примолкли кинсмены – и люди Крейгса, и наши, и долгополые, прибывшие с епископом. Слова господина графа пали каменной плитой на нас двоих, но Адам еще не чувствовал веса:

– Джон выследил кабана и подколот его, я только добил. Ему просто еще не хватило сил, я бы в его возрасте тоже не справился с этакой тварюгой. Я только помог! Ему всего десять, зверь мог бы растерзать его.

– Мне нет дела до того, что могло бы быть. Сперва ты под свою ответственность взял мальчишку на кабана, рисковал его жизнью, а после утверждаешь, что сопляк и добыл его. То есть, ты солгал?

– Нет.

– Ты солгал своему отцу. Подойди.

Я похолодел. Я знал, что за этим последует. Но Адам двинулся к помосту все равно.

– Благородному человеку не следует лгать своему отцу.

Он не повысил голоса, замах был молниеносен и почти не виден – только Адам пошатнулся, и струйка крови показалась на его верхней губе. Но поклонился отцу и вернулся вниз, к нам. Глаза его пылали, он молчал.

– Прости меня! Пожалуйста, прости!

Он взглянул на меня так, словно я сказал какую-то дикость:

– Ты просишь прощения за то, что *он* ударил меня? Я просто сказал правду.

– Но ведь из-за меня же! Если бы ты не стал меня защищать...

– Если бы я не стал тебя защищать, я был бы подонок. Ты же мой брат.

Честь благородного человека была дана мне не по праву рождения, но по праву братства. Тогда я ощутил это очень явно. Однако времени для упоения честью господин граф выдал мне не особенно много, теперь он смотрел на меня, и я, повинувшись странному чувству протеста, не мог отвести взгляд.

– Джон...

– Милорд...

Такой небольшой человек, так много места... везде – в нашей жизни, в собственной судьбе, в моей памяти. Сухая живость внутреннего огня, темные глаза, аккуратно подстриженные усы и бородка, обрамляющие тонкогубый рот, ни следа залысин, но белесые клинья седины на висках. Его трудно счесть красивым, но не запомнить определенно не сумеешь. Я ясно видел его руки, разбирающие куропатку на блюде – косточка за косточкой. Только что эта рука нанесла удар самому близкому существу и вот вернулась к обычному из мирных занятий, к трапезе – как так? Я тоже хотел подобного равновесия.

– Ты поступил как глупец, отправившись с Адамом охотиться на кабана, ибо не обладаешь должными навыками для того, чтоб делать это правильно, размеренно, верно. Ты слаб, твой разум неустойчив. Что толкнуло тебя к подобной детской глупости?

– Мое рождение. Мое предназначение, милорд.

Казалось, он удивился:

– И в чем же оно?

Давешний разговор с Адамом в лесу ударил мне в голову:

– Быть рыцарем. Разве это не единственно верно для вашего сына?

– Для *моего* сына – возможно... Но первое достоинство рыцаря – послушание, чем ты не благословлен именно от рождения. Всякий, желающий обучиться науке рыцарства, должен выбрать себе мастера для повиновения. Господина. Здесь, – молвил он, – твой господин – я.

Я молчал.

– Или, – прибавил он, забавляясь выражением моего лица, – можешь выбрать, чтобы служить, кого-нибудь среди своих братьев. Уилл и Патрик еще не посвящены, конечно, но вполне сведущи и...

– Адам, – сказал я без колебаний, – я выбираю Адама.

– Да только это все равно напрасно, и не приведет ни к чему.

– Почему же, милорд?

– Потому что ты ни на что не годен, Джон Хепберн.

Мне показалось, что сейчас имя рода он произнес с большим отвращением, чем имя собственное, как если бы соседство с моим марало и род.

– Ты ни на что не годен, – повторил он.

Я вышел из холла – на дворе еще стояло тепло, но мне показалось, что меня опустили в погреб. Двенадцать ступеней, двенадцать добрых дубовых досок, стертых и моими ногами также. За свои десять лет я выучил на них взглядом каждую щербину, ибо мне частенько приходилось опускать глаза. Теперь я опустил их, чтоб скрыть злые слезы.

Все как всегда. Я не знаю, кого мне нужно убить, чтобы отец переменял свое мнение.

Рука Адама внезапно легла мне на плечо, сжала, потом он притянул меня к себе, коротко потрепал по волосам и отпустил – наследнику Босуэлла ни к лицу выражать чувства прилюдно.

– Не бери в голову, Джон. Не противоречь. Не стой так явно у него на дороге. Возможно, он передумает. Я поговорю с ним. Леди-мать отмолит...

– Ты веришь в это?!

Кажется, я первый раз сказал ему это так, на равных. Впервые позволил себе горечь взрослых.

Адам взглянул на меня внимательно:

– Младший? А ты растешь.

– Да и как леди-мать отмолит, если они наверняка уже повздорили из-за Роуз? Видел, как она сложила ложку с ножом?

Посеребренная материна ложка служила ясно звучащим глашатаем войны, мы научились читать ее фигуры. Адам вздохнул, но не возразил, и повторил только:

– Ты, Джон, вырастешь.

Приятная прохлада сыроварни, адское пекло хлебного жара в кухне старого Саймона. Говор Тайна за речной стеной, шепот ручья – за наружной. Мардж все-таки отнесла феям засахаренные яблочные шкурки. Я же снова прятался по темным углам и думал, думал, думал, как бы переменить сжигавшее меня несправедливое мнение обо мне. Я вырасту? Это так называется? Если взрослость – время большей боли, тогда конечно.

Едва наступил день, наступил и свет. Взревели трубы. Я скатился с постели.

Во дворе, наполненном влагой утра, уже происходило... еще вчера по теплу было лето, сегодня же воздух тонко напоен тленом. Чертыхаясь, я прыгал на одной ноге, натягивая сырые чулки и штаны, путаясь в шнурках дублета, ненавидя всех окружающих – почему не разбудили? Сегодня день свадьбы моей драгоценной сестры, понимаю, но неужели я настолько пренебрежим, что предпочли просто забыть в углу, как сломанного «сарацина», ненужную турнирную куклу? Тем паче, что он и предстоял, турнир.

В кухне кипело три дня подряд, прачки орали на мостках друг на друга, столы вносились в холл, из часовни несло ладаном, туда-сюда прыскали слуги в ливреях всех цветов, повсеместно

светились полумесяцы герба Ситонов, «вперед и в опасности!» – девиз, как нельзя более подходящий для нашей Джоанны. Двор люто шумел и переливался гомоном, говором, конским ржанием, окликами слуг, пажей, поварят с раннего утра. И только господа прохладжались – как им положено. Господа ожидали церемонии бракосочетания и обеда. Его величество в компании Крейгса и господина графа, стоя во дворе на помосте, возведенном для зрителей к турниру, с видом знатока обсуждал новый доспех Босуэлла, сегодня доставленный от оружейника, латную рукавицу к которому, украшенную тонкой чеканкой, облекавшую руку легчайше, как кожа, не как металл, господин граф и предъявлял гостям... В полном – так и хотелось сказать боевом, но нет – церковном облачении дядя Джордж поднимался по ступеням ко входу в часовню, вероятно, принимать исповедь новобрачной, Джоанны, как и Ситона нигде видно не было... Поднимался, предварительно похлопав по плечу Адама, встающего с колен перед королем, вкладывающего в ножны собственный меч.

Я остановился, как вкопанный.

Жест дяди, поза Его величества, вид отца, но самое главное – лицо и жест брата сказали мне достаточно. И это я пропустил!

– Куда лучше, – молвил Джеймс Стюарт, принимая ритуальный поцелуй руки от Адама, – согласитесь, Босуэлл, если и дружка невесты подходящего положения, не только дружка Джорджа Ситона? Будем считать это моим личным подарком вам к свадьбе дочери.

Посвящение в рыцари старшего сына. Наверняка отец желал бы отпраздновать это отдельным торжеством, но королю взбрело в голову – и он ударил клинком по плечу. Позавчера мимоходом унизил, сегодня вознес – отчего бы?

– Большая честь для нас, Ваше величество, – отвечал Патрик Хепберн, и видно было, очень вдалеке, за всеми скрывающими его истинное лицо словесными оборотами, что он тем не менее очень доволен. – И мой сын постарается ее оправдать службой на благо короля.

– Достаточно и того, что он просто будет мужчиной, – отвечал король, холодными глазами коснувшись сэра Адама, – подобным вам... не так ли, мой друг?

Как уверенно он оттенял это «друг» – буквально одним мгновением долее держа слово во рту – и я уверен, отец прекрасно слышал всякий раз, говоря с ним, что ничто не забыто.

Я рано понял, что «быть мужчиной» – это некая договоренность. И мне было довольно странно, что полусредние, как их называл Адам, играли в это всерьез. Адам, кажется, придерживался того же мнения, что и я, но с большей теплотой, посмеиваясь – он вообще посмеивался над жизнью, местами не воспринимая ее как нечто, заслуживающее пристального внимания, но лишь как противника, сдавшего откровенно крапленые карты. Фальшивая монета на столе – вот что такое жизненная удача, говорил он. Весьма необычные слова для молодого человека его лет, как я теперь понимаю.

Но тогда... тогда все прежние слова старшего брата отступили прочь. Тот же рост и стать, то же платье, никаких церемониальных одежд – видно было, что причуда короля их с отцом застала врасплох, но Адам стал словно бы выше ростом, шире в плечах. И плечи эти не согнутся под любым бременем. Неужели сегодняшнюю удачу он тоже назовет фальшивой монетой? У него отныне было не только право на власть – по праву рождения, но и сама власть также, власть, данная королем, которую никто, кроме короля, не смог бы и отнять, ни даже сам первый граф Босуэлл. Теперь быть мужчиной для него значило соответствовать. Новому титулу, новой роли и себе самому – в границах той новизны. Бабочка, едва высвободив крылья из кокона, сидит, притихнув, на солнце и ждет, пока они нагреются, расправятся, нальются соками, расцветут во всей красе. И только тогда она сможет лететь.

– Ступай, – велел ему, слегка оглушенному, граф, – приоденься. Пора разогреться, пока еще есть время до венчания.

И латная рукавица блеснула на его руке, когда указал путь. Ему тоже не терпелось опробовать новый доспех в сшибке.

Адам спустился с помоста и тут уже споткнулся о нас троих – ибо мои драгоценные братья Патрик и Уильям, конечно, присутствовали с самого начала... Меж старшими как бы ничего не переменялось, но Патрик глядел на Адама с плохо скрытой завистью. Впрочем, и пары мгновений ему хватило, чтоб оценить произошедшее к своей выгоде. Повышение Адаму – повышение прочим.

– Выходит, если ты – сэр, то я теперь мастер Хейлс... Звучит превосходно, – он попробовал это на вкус. – Но раз я почти рыцарь, то хочу оруженосца. Вот его.

Патрик обернулся и ткнул пальцем в мою сторону.

Отец промолчал.

– Обойдешься, – Адам, очнувшись, положил руку мне на плечо, – я возьму его себе.

– Жаль разочаровывать вас, дети мои, – молвил отец, ни к кому особо не обращаясь, глядя, как голуби вьются над башней Горлэя, – однако Джон не сможет служить ни одному из вас. Разве что Богу.

И улыбнулся.

И вслед за ним улыбнулись все – от последнего пажа до самого короля.

И почему я тогда подумал, что здесь всего лишь обычная его холодная шутка?

Конечно, я был смешон. Я смешон самому себе, когда вспоминаю востропанного вихрастого мальчишку с застанными глазами в пол-лица, обращенными к взрослому, как к солнцу. Мне бы следовало быть менее уязвимым, но таким уж я родился – содранной кожей наружу. Пришивать те лоскуты обратно – долгая работа, и не везде она далась мне с успехом.

– Вы... вы двое, Патрик, Уилл. Покуда ваш брат облачается, тащите сюда пару боевых посохов из оружейной! Ваш дядя Крейгс бахвалился новым приемом, вот пусть и покажет. Покажешь им, Адам? Посмотрим, на что вы годны... и не зря ли год пожирала хлеб кузена Хоума! Ну-ка, вставайте в круг!

– Милорд, дозволейте и мне! – прежде чем я понял, что сказал эти слова, они уже прозвучали.

– Что?! – глядя на меня с помоста сверху вниз, он казался вдвое выше. – Что ты сказал, Джон? Это ты сказал?!

– Дозволейте и мне... с ними. Если дядя Крейгс покажет...

– Тебе это ни к чему!

– Но отчего же?

– Нет смысла учить тебя, ты не годен к бою, ты слаб.

– Я... я выследил и подранил кабана позавчера, я могу! Я умею на палках! Меня учил Адам, пожалуйста! Разве я девчонка, что вы прогоняете меня с турнирного поля?!

Это был мой случай, и следовало схватить его немедленно. Если граф увидит, что я справляюсь, он простит меня. И за кабана, и за то, что родился его сыном. Это был мой последний шанс.

– Отчего бы нет, Босуэлл? – тут молвил король лениво.

Но плохо я знал собственного отца. Огонечек загорелся в его темных глазах. Со слов короля отказать мне он уже не мог, однако прощать не намеревался. Уилл с Патриком тащили к нам здоровенные, окованные на наверхиях железом дубинки – боевые посохи, мы с Адамом тренировались на тех, что полегче, только лишь деревянных. Босуэлл коротко свистнул им:

– Эй, несите третий сюда! – и сказал мне. – Выстоишь против них двоих, найму тебе учителя мечевого боя.

Ни глотка воды во рту со вчера, ни куска хлеба. Зачем я встрял в эту бойню? Патрику четырнадцать, и он выше меня на полфута, Уилл, даром что младше Патрика, такого же сложения. Теперь уже я не мог отказать. Но не убьют же они меня, мои братья? А колотушки... да мало ли я получал их в жизни! И – учитель фехтования! «Ты – *unblessed hand*, Джон» еще поипотельно звучало в моей голове, хоть то был не голос брата, только дьявольское искушение.

Я решил, что всё могу, потому что тогда проще было умереть, чем отказаться. Мужественность всегда обретается ценою жизни. Если такова цена любви моего отца – я выиграю или умру.

Нас развели на круге, и бой начался.

Помню ли я, что происходило? Да, но предпочел бы забыть.

Когда посох Патрика или Уилла рассаживал мне коленную чашечку или щиколотку, с помоста раздавались аплодисменты и возгласы одобрения. Если же мне удавалось не только увернуться от обоих противников, но провести верный удар, в спину сквозило холодным молчанием. Даже наши, из Хейлса, поняв, что господин не рад мне, перестали орать, как обычно при палочной драке, и примолкли. Я чувал взгляд отца, упершийся в меня, вонзившийся, словно дротик, меня охватывал ужас, и раз за разом я ошибался. Тем верней ошибался, чем отчаянней боялся ошибиться, чем сильнее старался быть точным. Два здоровенных бугая, мои богоданные братья, с упоением пользовались случаем избить меня на глазах у всех – с полного его одобрения. И вместе с тем, как я слабел – но не сдавался, крепла скрытая ярость, которую я ощущал в нем, ярость, которую спустил с цепи мстительный Джеймс Стюарт... Сердце колотилось где-то в горле, мне не хватало дыхания, красным застилало глаза, когда я услышал небрежно оброненное королем на помосте:

– А младший-то сдает!

Когда его убили пять лет спустя, клянусь, я не жалел ни минуты, разве что о Шотландии, но не о нем самом.

И это был конец.

Господин граф Босуэлл прыгнул с помоста вглубь нашей драки и разметал сыновей, старших, как раз сбивших меня с ног подсечкой. Я помню над собой только глаза, сияющие лютой ненавистью, и тяжелую цепь с головой лошади у него на груди – гранаты и рубины в ней также кипели от гнева. Новенькая латная перчатка врезалась мне в скулу, тонкой чеканкой превращая левую часть лица в кровавое месиво:

– Вставай, сопляк, и сражайся! Или сдохни теперь же, ты не Хепберн, раз позволяешь бить себя! Вставай, сукин сын, подонок! Вставай и сражайся, кому говорю!

Собственно, все как всегда. Когда мне было восемь, он просто сбросил меня с моста в Тайн. И некоторое время смотрел сверху – под предлогом научения плавать. Течение там бурное, мне бы и пяти минут хватило. Сиганул за мной, понятное дело, Адам, да вот еще, неожиданное, Уильям: первый потому, что понял, в чем дело, второй – из желания поразвлечься. В итоге Адаму выпало спасать двоих младших братьев, потому что Уилла закрутило и кинуло головой на камни. Один из любимых сыновей графа едва не утонул, но виноват был в этом, понятное дело, я.

Когда я думаю об этом теперь, то мне удивительно – какое же количество вины переполняло мою тогда еще маленькую, тесную жизнь. Удивительно, как я сам не захлебнулся в той, чужой вине.

Впоследствии в своих скитаниях по Бервикширу Адам брал меня вплоть до моря, до самого Тайнмута, и я выучился плавать весьма прилично. У него в крови было спасать меня – как дышать. Я долгое время только и дышал этой любовью.

Но в тот день ни один из нас не хотел отступить: ни я – признать своей слабости, ни он – признать мою новорожденную силу, и некому было нырнуть за мной. Мгновенья длились и длились, пока я корчился от боли на земле у его ног. Глаза, остекленевшие от бешенства, искаженное безумием лицо, пляшущая на дублете пьяным рубиновым огнем золотая голова коня... Я закрывал лицо локтями, чтоб не лишиться глаз или зубов – и тогда удары сапог обрушивались в живот, разбивая мне внутренности... но оскорбленная любовь во мне поднималась, как волна: если он не желает принять меня, тогда лучше не существовать вовсе! Я хотел умереть и

сознавал, что лучшим способом сделать это было кинуться на него с ножом... только бы дотянуться до пояса! Но в тот самый момент, когда он каблуком встал мне на кисть, открывая мое лицо, чтоб обезобразить его окончательно, лицо, которое он так ненавидел, потому что считал чужим в роду... лицо моего деда, горца Хантли, лицо моей бабки, принцессы Стюарт... тень упала на меня вместо сокрушительного удара, удары вдруг прекратились – однако раздался его знаменитый рев:

– Прочь отсюда! Что ты себе позволяешь?! Кто ты таков, чтобы лезть не в свое дело?

Заплывшие глаза видели мутно, но я услышал голос, в звучание которого даже не поверил поначалу, как в звук пения ангелов.

– Господин мой отец, ради Христа Искупителя, удержите вашу руку!

То был голос Адама. Конечно... кого же еще.

Адам не успел облачиться полностью, выйдя во двор на шум, это спасло мне жизнь. Латная перчатка отца грянула о его кирасу, он сбил бы с ног и первенца, но Адама повалить было трудно. Мотылек расцвел, готовый лететь на огонь, крылья его развернулись. Он устоял.

Я потерял сознание.

Странствование в мире теней – дело долгое, пути там мутны и неопределимы. Свет полоснул по глазам, словно взошедшее солнце, я не смог отстраниться. Поэтому закричал. Так мне показалось, но на самом деле то был слабый всхлип. Я был жалок и противен себе самому.

Долгий вздох, также похожий на всхлип, руки, осторожно касающиеся моего лица, легчайший поцелуй – и ливнем слезы, слезы, слезы...

– Очнулся! Святейшая Богоматерь, благословенна ты в женах... Мардж, дай ему пить, я не могу, я больше не могу!

Шорох платья, стук хлопнувшей двери, она бегом устремилась прочь – слез Маргарет Гордон Хепберн не должен видеть даже собственный сын, никто не должен лицезреть ее слабости, слышать звука рыданий. Мне сказали, она не плакала, увидев меня сразу после, там, во дворе.

Другая рука поднесла к губам кислое питье в ложке. Я покорно выпил, закрыл глаза. Свет свечи плыл за пеленой век огненным шаром и несколько мгновений спустя. Рот совсем пересох.

– Спасибо, Мардж.

– Благослови тебя Бог, Джон, ты жив, и это главное. Остальное не стоит благодарности. Не хочешь ли помолиться?

При этих кротких ее словах гнев так ярко полыхнул во мне, что я действительно ощутил себя живым:

– Зачем?!

Богу и впрямь следовало бы прийти ко мне чуть раньше, чем отец возненавидел меня. Когда, в какой момент жизни это случилось? Я не помнил. Однако гнев вернул не только жизнь, но и боль. Казалось, все тело составлено из кровоподтеков и ссадин.

– Меня спас не Бог, а брат.

– Грех так говорить. Господь привел Адама и умягчил сердце отца. Сильно болит?

Станный вопрос. Я попробовал пошевелить рукой, потянулся к лицу, но сестра перехватила мою ладонь, сжала:

– Нет, Джон, нет... – она почему-то смешалась. – Рано. Потом.

Что там такое у меня на лице, что она не хочет, чтобы я знал?

– Адам?

– Он справляется о тебе ежедневно. И Уилл...

– Что?

– Спрашивал, как ты.

– Надо же. Вот странность...

– Джон, какое же счастье, что ты жив!

Тогда мне так не казалось. Скорей уж я был убежден, что нет. Я не знал, чего мне ждать снаружи стен моей кельи теперь, когда так нелепо остался жив. Адам зашел незадолго до вечерни, прослышав, что я пришел в себя. Сел возле, протянул руку – и я прильнул к ней чистой от раны половиной лица. И мы молчали.

– Мне жаль... – сказал он наконец.

– Мне тоже. Того, что я остался жив.

Брат посмотрел на меня так, словно я богохульствовал:

– Никогда и не думай об этом. Все в руках Божьих, Джон, и ты нужен Ему живым. Мне жаль, что я подчинился отцу и ушел тогда, что вернулся так поздно. Мне жаль, что матери пришлось пережить это...

Я не видел, понятное дело, я лежал в жару от побоев и от нервной горячки в комнатке моей кормилицы в Восточной башне, но, говорят, гнев моей матери, проходящей по залам Хейлса, выжигал все живое на своем пути. Говорят, крик ее восходил над башней Горлэя, подобно вою семейной банши Гордонов, качался и падал в слух, словно ястреб на жаворонка. Она переносила пренебрежение и насмешки, которым отец подвергал меня, и легкие побои тоже, ибо считала их должными для воспитания настоящего мужчины, но убить меня она бы не позволила ему ни за что. Убить меня означало покуситься на ее единственное и священное библейское право – право женщины даровать жизнь, плодиться, размножаться, населять край Господень. Пожалуй, тогда во мне последний раз – или первый, если считать во взрослой жизни – шевельнулось теплое чувство к матери. Взрослым я уже ощущал ее не как родившую меня женщину, а как равноправного союзника. Интересно, что потом, уже после смерти отца, после Флоддена, среди всей этой своры Хепбернов и она смотрела на меня так же.

Вот так и случилось, что мы – я и леди-мать – пропустили свадьбу нашей дорогой Джоанны, что было принято ею с должным пониманием. Проще говоря, только радость избавления от моей матери как от мачехи и переход в статус замужней дамы не позволили ей вопить от ярости в голос о своем унижении, о нарушении приличий, – не смущаясь присутствием короля. Десять дней мать не отходила от моей постели, а в день, когда я впервые открыл глаза, человек, который был прежде моим отцом, отбыл в Эдинбург, ни разу не зайдя проведать меня. Мать сохранила мне глаз, я даже не потерял в зрении, но шрам на левой скуле остался со мной на всю жизнь.

Хепберны – общественные животные. Явственной всего мы играем в самих себя пред лицом других. Нет публики – нет и азарта, нет блеска. Если бы братья избили меня не на глазах у отца, это стало бы рядовым происшествием. Если бы я дрался не на глазах у отца, если бы ставки не были столь высоки, моя рука была бы крепче. Если бы это случилось не в день свадебного турнира, не в присутствии короля – отец едва ли зашел бы так далеко, однако ему оказалась нестерпима сама мысль, что король видел его слабость. Его же слабостью был я. Проще было уничтожить меня, чем принять ее. И, наконец, если бы это все не произошло на глазах у Адама, я был бы лишен возможности писать эти строки.

Шотландия, Ист-Лотиан, замок Хейлс, февраль 1508 г.

Снег падал и падал, укрывая собой пространство двора, по которому взад-вперед сновали люди. Я видел все в черно-белом цвете. Там, где снег затаптывали башмаки слуг, он обрастался в грязь. Примерно то же происходило и с моей жизнью. Прошло Рождество, минуло и Крещение, но ни освобождения, ни радости святые дни не принесли. Казалось, что вся моя

радость осталась в прошлом. Кусок жизни выпал, как осколок из треснувшего кувшина, и вся сила ушла в этот пролом. Я не понимал, на каком я свете, что будет дальше.

Хейлс опустел. Патрик с Уиллом, слава Всевышнему, после праздников отбыли к Хоумам. Будучи дома, они не упускали случая позубоскалить надо мной, щедрые на пинки и толчки, на мелкие пакости. Адам находился в Эдинбурге вместе с отцом. Поговаривали, что граф Босуэлл ищет наследнику невесту – пусть не для немедленной свадьбы, но для обручения. Самого господина графа не видали в Хейлсе с тех, послесвадебных дней. Тем неожиданней было увидеть в проеме ворот молодого МакГиллана – он спешился посреди двора, бегом пересек его, цепочка следов вела ко входу в Западную башню, где смешалась с сотней таких же, расчерченных на снегу, как, должно быть, судьбы наши расчерчены перед взором Всевышнего. Я поежился, отодвинулся от окна, затворил ставни. Ясное дело, к чему оно клонится, но я предпочел бы переждать все время его визита вот тут, в своей комнате, наконец опустевшей после отъезда братьев... я смутно понимал, что случилось нечто непоправимое – не только по отметине на лице – но не знал, что именно. И грядущее прояснение судьбы скорей тяготило, чем освобождало меня. Я закрыл книгу – то был часослов – и спустился вниз, к выходу на реку, оскальзываясь на ступенях.

Конечно, она уже ждала там, у восточного схода на берег, и стояла неподвижно, напряженно вглядываясь в серую воду, в которой вертелись бурунчики. У Тайна крутой нрав, как у нас самих, он никогда не замерзает в камень, кроме самых лютых лет.

Нежный полупрофиль, локон рыжеватых волос, во влажном воздухе чуть подвитый. И глаза у нее серые, как мои.

– Что, Мардж? Они не плывут?

– Ты снова смеешься надо мной, Джон, а? Это невежливо. Все знают, что в Тайне теперь нет русалок. Я стою здесь не поэтому.

– Почему же?

– Сама не знаю. Мне беспокоино.

– Он едет.

Она зябко повела плечами под плащом, поежилась, глубже спрятала руки:

– Знаю. Не попадайся ему на глаза.

– Разве я не мужчина?

– Ты мальчик, Джон, – только сестре моей Маргарите, жемчужине моего сердца, мог я простить подобную правду, – не попадайся ему на глаза и не зли. Ну, что тебе стоит?

– Я не могу провести всю жизнь слизнем.

– Всю и не надо. Время пройдет, эта история забудется.

– Только не мною. Он расписался у меня на лице на память.

– Все проходит, пройдет и это. Я хочу обратно в Нанро, Джон. К матушке Элизабет. Не понимаю, зачем отец не велит мне возвращаться к кларетинкам – мне там самое место. Не в этом вашем мире мужчин, где бьют – и убивают. Особенно если убивают бессмертную душу, не тело... кто рожден невестой Господней, той не место среди живых.

– Ну, что за глупости, посмотри на себя, Мардж... разве можно быть более живой, чем ты?

– Можно, – она повернулась ко мне, обеими холодными руками взяла мои, еще теплые, от нее летел свет и снег бессмертной юности. – Как, например, ты. Иногда мне кажется, что он ненавидит тебя именно за это. Ты неукротим. Ты – чистый огонь в душе...

Железо куют, разламывают и обтесывают дерево, огонь пребудет вовеки.

Топот множества конских ног наполнил двор. Не оборачиваясь, я отступил к стене, скользнул краем берега к тому выходу, который приведет меня в башню, минуя встречу с отцом. Как бы ни страшился я этого момента, он все-таки приехал.

Но, во всяком случае, с ним был Адам.

– Ну, каково там? Что ты видел, где был?

Мы втроем сидели у огня в нашей с Адамом спальне. Адам на скамье у огня, Мардж – возле него, положив голову ему на плечо, я – на овечьей шкуре у них в ногах. Старший брат рассказывал о столице, о короле и его придворных, о Босуэлл-корте – тамошнем городском владении графа, где не был никто из нас, и сам от души наслаждался этим рассказом. Остро-слов Адам Хепберн был известный, хотя и молчать к месту умел, как никто. Там, при дворе, он был мужчина, воин, взрослый, серьезный, сильный, ценящий достоинство, но среди нас – всего лишь юноша шестнадцати лет, и мог показать себя без церемониала, живым, веселым, ласковым. Я помню тот вечер, как сейчас, потому что мы были счастливы. Они двое вернулись от ужина в холле, мне сегодня подали прямо в комнату, за что я был несказанно признателен матери и положил поблагодарить ее лично, прокрадываясь после вечерни к ней в покои – хотя и не знал точно, поступила она так, чтобы поддержать меня, или чтобы не злить господина. Словно камень с души упал, когда я понял, что мне не придется видеть его за ужином.

– И что королева? – это спросила Мардж.

– Королева грустна, – Адам поморщился. – Такая молодая и такая печальная. Да и то сказать, пришла новость о том, что герцог Ротсей скончался в Стерлинге – пожалуй, возвеселишься тут.

Сердобольная Мардж охнула и перекрестилась, мне же не было дела ни до каких мертвых младенцев-принцев, я думал о нас, рассматривая как брата, так и сестру. Как удалось нам уродиться такими разными, даже не считая Джоанну, та вообще собою черная жилистая сарацинка? Из четверых сыновей Босуэлла внешне в него удались Уилл и Патрик, Адам сходен скорей в поведении, в теле, чем обликом. Он не красавец, но выглядит вполне пристойно. Такой вердикт еще давненько вынесла Джоанна, он ржал в голос и сказал тогда, что ему достаточно лица, удовлетворяющего законам симметрии – на такой голове, мол, шлем сидит ровно, а большего и не надо. Лицо чистое, без изъянов, глаза вот особенно хороши, яркие, богатые на всплески чувств, синие, разрезом напоминающие кошачьи, глаза, всю его душу открывающие до изнанки. Оно и понятно, у Босуэлла и наследник предпочтет придержать язык, чем высказаться – тут уж научишься говорить глазами. Но среди нас ему не было нужды подбирать слова.

– Мы потому и вернулись, что двор погрузился в траур, но королева-то снова носит дитя, как бы не огорчилось во чреве. Вдобавок Его величество, в свойственной ему куртуазности, не пропускает ни одной мимо бредущей юбки, за исключением, разве что, пыльных юбок каких-нибудь Кемпбеллов, понаехавших из Ущелья... второй Аргайл, Гиллесли Арчибальд, сейчас же канцлер, вокруг него не протолкнуться от горцев – островных и тех, что с Нагорья. Он приезжал к нам в Босуэлл-корт – смердят они, клансмены его, чудовищно, да простит меня Бог... за нелюбовь к ближнему, да-да, Марго! – и Адам рассмеялся укоризне в глазах сестры.

– Зачем же приезжал? – мне очень нравилось испытывать границы его наблюдательности.

– Да у них были какие-то дела с отцом. При дворе беспокойно – и не только из-за смерти наследного принца. Отец ищет прибежища в самых неожиданных союзах... Аргайл хитер и увертлив, да и старший сын его, Хмурый Колин, вовсе не без ума. В королевстве что-то неладно, но мне не понять, что... Пока господа высокие и могучие графы говорили о своем важном, наследникам тоже довелось выпить и поговорить.

– И каково это, чувствовать себя рыцарем, наследником Босуэлла, дражайший сэр Адам?

– Ну, так себе, говоря откровенно. После этого посвящения... слухи-то разошлись, я вырос в цене на брачном рынке, граф и повез бычка на ярмарку – показать, что к случке готов...

У Адама было все в порядке в девицами, но он эти свои дела обставлял тайно, не в Хейлсе, или уж я бы знал. Патрик тоже приобщился взрослости у Хоумов, хвастался этим еще в начале лета, и ни одной девчонке, подходящей под его вкусы, в Хейлсе проходу не было. Уилл завидовал. Я заглядывался на женщин, но мир тела был темен для меня и волнующ. Мне

не хотелось раскрыть врата преждевременно. Знал я также и то, что Адам, как полагалось идеальному рыцарю, мечтал о прекрасной даме, но таковой еще не обрел. Понятно, матримониальные планы отца могли неприятно задеть его.

– Ну, и кто только ненароком, ясное дело, не показывал нам своих девиц на выданье. Насмотрелся я – на весь век хватит. Теперь подожду. И буду молиться, чтоб отец не велел жениться хотя бы до совершеннолетия. В конце концов, нас у него четверо, графство без наследников не останется... а на обратном пути, представляете, мы чуть было не оказались в лапах у самого Генри Ральфа Хаулетта!

– Неясыть на вашу голову?!

– Именно!

– Он что, жив еще?

– Жив, старый черт. Уж не знаю, выехал ли на границу своих земель искать добычу или просто прогуливался, однако надо было видеть, как они с господином графом мерялись взорами!

«Неясыть на вашу голову!» – таков был девиз рода Хаулетт, лордов Хаулетт-холлоу, Совиной лощины. У них и в гербе сова, разбивающая шлем рыцарю: по легенде, некая неясыть выклевала глаза одному из разбойников, который покусился на короля, охотившегося в этих краях. Ну, и поговаривали, что та неясыть не вполне была птицей, и что потомству человека-совы передались те же умения. Если посмотреть на историю приграничных семей, то шотландские короли и их братья принцы, видимо, в древности были редкостными растяпами: то Тернбулл спасет кого из них от быка, то Хепберн от лошади, то Хаулетт от заезжего рейдера...

– Странное же у него имя, – сказал я. – Хотя не только имя, а вообще всё.

– Так норманнское же. Хаулетты здесь со времен Вильгельма Ублюдка, как, впрочем, и де Горлэи, те из Пикардии, родня Баллиолу, Подставному королю Длинноногого. Они как де Хиббурны – из Нортумберленда.

– Но мы – шотландцы?

– Но мы – шотландцы, какие сомнения, Джон? Помесь пикардийцев с сассенахами только и может дать, что природного шотландца! А Хаулетты здешние – со времен Уильяма Льва точно, стало быть, старожилы. Да что толку? Род вымрет, если он не найдет дочери жениха и если король не признает за потомством по женской линии титул. Она, кстати, была с ним, тоже верхом.

– И как она?

– Очень молодая. И очень печальная.

– У тебя все леди, Адам, очень молодые и очень печальные.

– Что ж поделать, если только такие и встречаются? Не всем же быть хохотушками, как ты, Марго. Да и как ей не быть печальной, кто на нее позарится? Там в приданом, кроме красоты, только эта рухлядь, Хаулетт-тауэр, лютый папенька да слава ведьмаков-предков.

– А ты бы позарился, Адам?

Видно было, что вопрос попал в точку, Беатрис Хаулетт глянулась моему брату.

– Графы Босуэлл, – отвечал он со вздохом, – не женятся по любви. Так сказал отец, и тут я, в общем-то, с ним согласен. Союз наследника рода должен служить укреплению рода. Кабы к миледи Беатрис не прилагалось такого тестя да было при ней побольше земель... но что теперь говорить-то! Зато тебе, Джон, не будет нужды оглядываться на род. Придет время, женим тебя так, что в Хейлсе дым столбом будет стоять три дня. И непременно – на желанной и любимой.

– Это младшего безземельного-то?

– Ты не понимаешь. Отец, дай ему Господь всех благ и многие лета, не вечен. Что если Босуэллом останусь я? Что тебе стоит потерпеть, Джон?

С этой мыслью я долгое время не мог уснуть, в отличие от Адама. Первый раз он выразил это так явно – наверняка почувствовал силу титула, ему стало казаться, что отец считается с

ним, и вдобавок задумался, что будет с нами после того, как первый граф уйдет к праотцам. Ибо он не то, чтобы пообещал – но он обещал. И насколько я знал брата, он свое обещание выполнит. Не в силах сомкнуть веки, я выскользнул из-за полога постели, наскоро оделся, спустился на двор.

Человек как луковица, у него много слоев. Вот младенец. Из убежища своего тела через боль женщина отторгает его – для любви. Но ему не дают любви. Вот маленький мальчик, отталкивающийся от руки кормилицы, отправляющийся в долгий путь, с первого шага пролегающий до могильной плиты. Вот младший сын рода, мечтающий стать лучшим рыцарем, чем старшие братья, наиболее прославленным, жениться на любимой, обрести семью и детей... Они все всё еще внутри меня. Хотя их уже почти закрыли иные слои.

Хейлс стоял и тогда, как воздвиглись Дирлетон и Йестер, который, всем известно, строили гоблины – три самых старых замка в наших краях. Первую башню возвели де Горлэи, получив земли Ист-Лотиана от Уильяма Льва. Горлэи пришли из Пикардии и приходились родней Баллиолам, было это триста лет назад, в конце двенадцатого века. Теперь в их башне обитают слуги, голуби и те несчастные, кто угодил в тюрьму. А сто лет спустя Горлэев в этих краях процвели Хепберны – и заматерели настолько, что требовали охранной грамоты от сассенахов на то, чтоб поклониться гробнице Томаса Кентерберийского или посетить их университет. Тогда и старый холл был отведен под часовню приходской церкви Престонкирк, отстроен новый, нынешний, вознеслась к небу сперва Западная башня, а там и Восточная, колодезная. И все это – в кутерьме заговоров, предательств, обманных ходов, политических соглашений, осад, резни, свадеб и похорон. В Западной избрали себе обители сэры, лорды, затем бароны и графы, в Западную я и стремился, прошмыгнув через двор, укрывшись в тени стены древнего донжона. Старый Хейлс был отдельный мир, сыр, прогрызенный сотней маленьких кропотливых мышек. Теперь-то от него осталась одна скорлупка, хотя племянник и потрудился на славу. Тогда же никто, как я, так точно не знал всех нор его, всех дыр, всех тайных убежищ. Сметливость, легкость в теле, необходимость уходить от докучливых братьев, а то и от опасности, когда им взбрело в голову поразвлечься за мой счет – у меня были отличные наставники и уважительные причины, чтобы изучить родной дом как свои пять пальцев. Летом я мог, не ступая на землю двора ни разу, пройти изнутри покоев Восточной башни в графскую спальню Западной, пусть даже порой путь мой лежал по крышам и снаружи крепостной стены. Зимой, конечно, по обледелому камню стен пробираться сложнее, но, тем не менее, мне удалось, кое-где пресмыкаясь и по земле, не попасться на глаза МакГиллану, камердинеру отца. Граф вывез его из Абердиншира, из владений тестя, вместе со старухой-матерью, которую все считали ведьмой – вывез, женил на местной, сделал своим ближним, и тот предан ему, как подлинный горец, хуже, чем гончий пес егерю.

В каждой башне Хейлса по две винтовые лестницы в толще стен – покуда по одной поднимаются вверх, по второй в то же время можно успеть покинуть покои. Так строили всегда, но в Западную, в самую графскую спальню, ведут три хода, последний скрытый, потайной, завершающийся за дубовой панелью стены с гербом Босуэлла. Не знаю, что тогда гнало меня в ночь при огромной вероятности того, что леди-мать уже отошла ко сну. Если бы мне пришло в голову, что она не одна, видит Бог, я бы воздержался от посещения, однако что-то слепило меня, что-то толкало вперед, словно я знал, что в тот вечер решалась моя судьба. Я был окрылен обещанием брата, я нес эту скрытую в себе радость, как крохотный огонек свечи, озаряющей путь... Однажды я уже проходил к ней тем тайным проходом, страшно напугал ее камеристку, но ее саму скорее повеселил, явившись в паутине и ржавчине из стены. После того случая мать велела прибрать и почистить винтовую лестницу стенового хода, но и запирала дверь изнутри спальни. Однако окошко в той двери было прикрыто шпалерой, прикрыто неплотно. Можно

было просунуть в него руку, скинуть крюк засова, отворить, но то, что я услышал изнутри, стоя на лестнице, заставило меня замереть на месте, задержать дыхание.

Госпожа графиня была не одна – с ней был ее супруг.

И явился я в разгар беспощадного боя.

Леди-мать стояла ко мне спиной. Ее силуэт виднелся, словно вырезанный из черной бумаги, на фоне каминного пламени, изнутри стенного хода казавшегося ослепительным, хотя на деле спальня погружена была в полумрак. Босуэлл, напротив, находился лицом к моему укрытию, и я обливался потом, но не уходил восвояси, хоть мне и казалось, что взгляд его, направленный на жену, проникает за стену, шпалеру, увязает во мне.

– Если это всё, – произнес наконец он, – я попросил бы вас удалиться.

– Не прежде, чем задам последний вопрос. Зачем же вы женились на мне, если ненавидите всех моих детей?

– Так-таки и всех? Я женился на вас, потому что мне нужна была жена, а моей дочери – мать. Вы скверно справились с тем и с другим, леди. Трое парней вам более-менее удались, но этот, который выставил меня на позор перед королем... Не знаю, от какой ночной похотливой грезы вы зачали его, но это не мой сын.

– Вы, мой господин, безумны. Или больны.

И через паузу, в которую он боролся со злостью, я услышал короткий смешок ведьмы:

– Опустите руку, мужлан. Мой кузен король узнает о побоях немедленно. Я смирилась с тем, что вы заперли меня в клетке – потому что здесь же мои сыновья – однако с вашей грубостью к ним далее мириться не стану.

Если бы отец только догадался, что я стою в пяти футах от него, укрытый занавесью, на винтовой лестнице – если бы я выдал себя движением или дыханием даже – смерть моя была бы неминуема и мучительна. Но я не мог заставить себя не слышать этого – собственными ушами...

– Я – дочь принцессы Стюарт, и мною вам заплачено за то, что вы сделали. И дочь горца – память у меня долгая, господин муж. Этот сын не похож на вас, мясника, но удался в моих родителей, в предков его, королей, и потому вы желаете сжить его со свету? Ваш низкий род столь завистлив к моему?

– Мой низкий род?! Заткнитесь, леди. Не то мне придется напомнить вам о долге, которым вы пренебрегаете, нелестным для вас образом.

– То есть, лестным напоминанием вы полагаете брюхатить каждую новую мою камеристку? А вовсе не достойное мужчины поведение, полное заботы о детях и учтивости к жене?

– Учтивости? К вам?!

Похоже, господин первый граф Босуэлл был совсем не прочь овдоветь. Я не знаю, чего матери стоило выдерживать этот взгляд, этот шквал. Безумие в Патрике Хепберне вспыхивало мгновенно и непредсказуемо – беспощадно настигающая одержимость, позволяющая забить ногами собственного ребенка. Но Маргарет Гордон Хепберн была не робкого десятка, ее стальная красота сияла красотой меча, который страшно взять в руки. Словом, мои родители друга друга стоили – полной мерой.

Но тогда я не думал об этом, потому что камень внезапно скатился с обрыва – и накрыл меня целиком:

– Добро, – сказал граф несколько мучительных мгновений спустя, в которые я забыл дышать. – Я оставляю в живых этого щенка. Но он никогда не станет настоящим мужчиной – я не позволю ему жениться, чтобы он передавал свою мешаную кровь вместе с моим именем. Джон Хепберн станет священником, моя дорогая леди. Престонкирк, Мелроуз, Келсо, выбирайте...

Лучше бы он решил убить меня.

Его волчий оскал я запомнил на всю оставшуюся жизнь.

Было время, Хейлс казался мне целым миром, однако с тех пор я немного повидал мир и уяснил себе, что Хейлс лишь песчинка на теле земли, как, впрочем, и все остальное – тщета перед Господом. Когда я говорю об этом, во мне нет любви к Создателю, но лишь смирение к воле, которой я не понимаю, которой не верю.

Когда я умру, дух мой войдет в эти врата и разрушит их, ибо ненависть моя – шар огненный, и не престанет во веки веков.

Мать молчала, но я не хотел бы сейчас увидеть улыбку на ее лице – ту, которую ощущал и не видя.

– А, – сказала она, – так не взыщите, что Господь спросит с вас и за это, господин граф.

Легко сказала, словно речь шла вовсе не о ней, не о нас. Метресса отца, ее камеристка Роуз выкинула младенца на третьем месяце, сама еле осталась жива, выла над утраченным ребенком так, что, казалось, там, в людской, заперли волчицу. Поднявшись на ноги, с совершенно мертвым лицом целовала графине руку, благодарила мою мать за милость к ней – знала, что могла поплатиться и жизнью. Ни один бастард моего отца не появился на свет в Хейлсе, предупреждение зловещее, и лишь одна его женщина осталась жива – та, что уехала за ним в Крайтон, где и родила Долгого Ниала. Не знаю, почему мать пощадила ее, может быть, из-за возраста, та была не старше нашей Джоанны.

Но то было уже позже, и следствия того разговора, и история бедняжки Роуз. А тогда я стоял на витой лестнице недвижимо, и библейский, сжигающий города огонь бушевал во мне, и я не мог пошевелиться, чтоб он не выплеснулся, и думал только об одном: как же мне теперь быть?

И как дожить до дня свободы, обещанного Адамом?

В спальне господина графа давно погас камин, и не слышно было дыхания спящего человека, и я не помнил, как нашел дорогу к себе.

– Не может быть! Большей чуши я в жизни не слыхивал! Священник?!

Адам смотрел на меня, словно я рассказал ему самую глупую шутку в жизни.

Мне же хотелось выть. Мне казалось, что я видел дурной сон. Я не спал ночь, я сидел на полу и смотрел в стену. Мне казалось, что всё это не со мной. Этого просто не может быть со мной! Похоронить меня заживо – вот, оказывается, какое он принял решение...

– Эй, ты не болен ли? Кликнуть Элспет с ее отварами?

Адам наклонился ко мне, потрогал лоб.

– Или лучше – Мардж, – решил он.

– Да при чем тут Мардж! – заорал я так, что старший подскочил на месте.

– Наказан ты за свой грех, между прочим, – буркнул он, – негоже человеку благородному подслушивать под дверью родителей. Всем известно, у кого длинные уши – тот не услышит о себе ничего доброго... уверен, он сказал это просто ей назло!

Вот чего мне остро хотелось в юности, да и потом, по мере хода жизни – так это обрести счастливую способность моего брата трактовать все происходящее к лучшему – или же считать явной нелепицей. Но все сложилось в моей голове одно к одному, как бусины четок, каждое слово, каждый жест последнего года, и «Джон не сможет служить ни одному из вас, разве что Богу» тоже. Все это было решено очень давно. Подставляя меня под палки моих братьев, он уже тогда все знал наперед. Моя победа, мое упорство ничего бы не изменили. И вот за эту непреклонную решимость, за игру краплеными картами я ненавидел его так, что голова болела от ярости.

– Я поговорю с ним! – когда уверился, что не шутка, старший был возмущен. – Ну, какой ты, к дьяволу, монах?!

Слухи уже растеклись по замку – только добрая весть под камушком лежит, в отличие от дурной. Когда Адам начинал поминать все Врага человеческого, это значило, что он и впрямь раздосадован. Завтрак мне вновь принесли в комнату, но теперь я не радовался – так носят паек зачумленному. Прибежала Мардж, тоже не поверила, сели рядком на пол, но не то, что заплакать, даже всхлипывать у меня не получалось. Так и сидели, обнявшись. Она тоже горевала, но ровно по обратному поводу – ей запретили возвращаться в Нанро к кларетинкам, Маргарет должна была остаться в миру. Как странно: брат обречен на то, чего страстно хотелось сестре, и оба мы ущемлены и разбиты. Когда она гладила меня по лицу, кончики пальцев ее спотыкались о шрам.

Адам вернулся с пустыми глазами. Я даже не стал спрашивать, что ответил ему отец.

Старый Катберт, священник Хейлса, был тем, кто неожиданно встал на мою сторону. Я краем уха услышал их с матерью беседу в часовне, вскоре после воскресной утренней мессы. Катберт не успел убраться восвояси в Крайтон с приездом господина графа и потому мог позволить себе некоторое количество прямо еретических высказываний. То, что он мог пострадать за них, его нимало не беспокоило. Его и вообще не беспокоило ничто.

– Негоже, – прокаркал он, – убийцу делать монахом. Скажите своему мужу, леди, что он болван.

– Скажите ему это сами, святой отец, – не осталась в долгу леди-мать.

– Какого зверя, интересно мне, в себе самом желает умиловить господин граф этим жертвоприношением?

Катберт и в миру выражался языком завета не Нового, но Ветхого. И не смущался этим ни в коей мере. Нечто подобное я слышал после у проповедников лютеранской ереси.

– Какого бы ни хотел, дело наше – не дать ему на съедение живую душу моего сына. В монастыре она будет в большей безопасности, видит Бог. Не говоря уже о брэнном теле.

Именно старый Катберт крестил меня как *unblessed hand*.

Неблагословленная рука. Этот обряд отдает такой могучей древней магией, колдовством гор, шепотом холмов, что его в наших краях почти не осталось, и только далеко на севере вожди гэльских кланов подвергают ему своих детей – и вот он был наложен на меня, как заклятье, на мальчика южного благородного рода, правнука короля Джеймса I, потомка английских Плантагенетов. Младенец при крещении погружается в купель, исключая правую руку – затем, чтоб этой, не благословленной рукой, он взрослым мог убивать своих врагов – и не иметь греха на душе и угрызений совести. Старый Катберт совершенно справедливо назвал меня убийцей, убийцей по праву крещения, как бы странно то ни звучало. Я всегда недоумевал, зачем ей это понадобилось. Почему я, почему, в конце концов, не первенец, ни один из старших? В этом была какая-то загадка, какой-то секрет, тайна между мной и матерью, которую она так и не открыла мне, не открыла из детства и до последнего дня. Было ли это знаком благословения или, наоборот, горького разочарования во мне, как в последыше, впитавшем всю природную ярость породы Хепбернов, псов, убийц? Но мне не давала покоя фраза, брошенная Босуэллом, о том, что он не признаёт отцовства... и с тем, разорвав на себе руки Мардж, я отправился к леди-матери.

– Миледи... Матушка!

– Что тебе, Джон?

На сей раз не из стены, не в тайне, а через дверь среди бела дня, как все обычные люди. Что мне... Хороший вопрос! Даже выносив в себе фразу, я не мог ее вынуть из рта, как не мог бы облить мать горшком помоев. Но если бы она сказала правду, если бы созналась, пусть даже потом бы меня до смерти избили за дерзость, за вскрытие гнойника – это объяснило бы картину мира. Я ненавижу не понимать жизнь. Мне всегда доставляло боль не понимать, как и

почему все устроено. Я должен был знать, чтоб найти прямое объяснение его ненависти, чтоб шахматные фигуры в запутанной партии моей жизни встали каждая на свое место. И вот я выдвинул шах королеве.

Я помню, как она смотрела в мое лицо, заливаемое краской, жгуче багровеющее от стыда – от стыда спрашивать о том, о чем не говорят вслух. И безумная надежда теплилась во мне, я готов был оказаться хоть сыном конюха, лишь бы тот принял и обласкал меня. Что проку в родословной, которая не моя? Я бы с охотой променял родословную на любого иного отца, на семью, в которой я был бы наконец свой... На минуту во мне затеплилась надежда, что я и правда не сын этому зверю, то был жест крайнего отчаяния, однако она именно так и поняла. Мать долго молчала, затем снова смерила меня взглядом, и взгляд этот сперва не обещал доброго:

– Любой из моих сыновей поплатился бы спиной, в кровь рассеченной плетью, осмелюсь он задать мне подобный вопрос, но ты...

Затем глаза ее осветила глубокая грусть, и в этот миг я ощутил меру ее любви полней, чем когда бы то ни было:

– Ты – Хепберн, Джон, клянусь спасением души. Природный Хепберн – придет для тебя время смириться с этим. И поверь, лучше быть младшим из законных Хепбернов, чем бастардом пусть даже самого короля – что бы об этом не говорили досужие сплетники.

Тут растворилась дверь – та, нетайная – и на пороге, переминаясь с ноги на ногу, предстал Йан МакГиллан. Они с графиней посмотрели друг на друга неласково, я прямо видел, как свет любви угасает в ней при виде доверенного слуги мужа:

– Ну?

– Ваша милость, мастеру Джону велено нынче обедать в холле.

– Не думаю, что мастер Джон нынче в силах для шумных сборищ.

Йан кашлянул, еще раз переступил на месте, как лохматый пес, ожидающий выгула, повторил:

– Господин граф велел. Сказал: если он может есть у себя, стало быть, способен и выйти к столу.

Отец возвышался во главе верхнего стола как изваяние. Два наверху резной спинки кресла за его спиной и два зубца штандарта Белой лошади строго над ним создавали странную иллюзию пасти, смыкающуюся клыками на господине графе – отличная метафора всей жизни его – и в этой расщелине он существовал. Существовал, надо сказать, с комфортом, жизнь вокруг бурлила. Сейчас Патрик Хепберн смотрел в одну точку перед собой, о чем-то сосредоточенно размышляя. Когда вошла леди-мать, он только рассеянно ей кивнул, после чего и нам было позволено сесть. Меня, вопреки опасениям, он просто не замечал. Обед прошел в молчании, прерываемом только короткими указаниями хозяйки к мажордому. Роб Бэлфур, сын Слепца Боба, управляющего Хейлса, был повышен до этой должности только после Крещения и еще не впитал всех тонкостей. Графиня на людях делала вид, что ничего не произошло. Босуэлл не просто делал вид, но вел себя так, что становилось понятно – любые вопросы и угрозы жены для него не более, чем шум ветра. А, впрочем, ведь никто и не знал о тех отравленных гневом словах, кроме меня, их причины. День был постный, поэтому суп из трески в сливках, сельдь в пряном соусе из темного эля, лука, хлебных крошек, сыры – острый и мягкий, пироги с мочеными яблоками... пили тоже эль, я помню, что мне он горчиал. Жестом граф подозревал Роба, велел передать в кухню для Саймона похвалу за суп, по-прежнему глядя мимо жены. Я не поднимал глаз от миски, ощущая все происходящее, наверное, кожей затылка. Пустая балка стропил над моей головой. Джоанна увезла с собой штандарт с изображением соединенных гербов своих родителей, больше о ней в Хейлсе не напоминало ничто. Примерно то же про-

изойдет и со мной. Больше, на что я могу рассчитывать – строка с датой рождения в молитвеннике матери.

Господин граф Босуэлл оперся о подлокотники кресла, помедлил, встал. Иллюзорная пасть, смыкавшаяся на нем, от дуновения теплого воздуха мгновением разверзлась, штандарт колыхнуло, и он едва не лег на плечи, как плащ.

– МакГиллан, поторопи Слепца, чтобы всё и все готовы были к утру... Ты, – это к Адаму, – остаешься. Патрик с Уиллом вернутся домой послезавтра, следи за ними хорошенько, помни: нам сейчас шутить некогда. А ты, – и это внезапно мне, – едешь со мной.

Шотландия, Мидлотшиан, Эдинбург, февраль 1508

Эдинбург я запомнил как серое пятно, расплывшееся на черной грязи. Мы добрались туда сквозь мокрый снег за полдня, да были бы и быстрее, кабы кобыла господина графа не подвернула ногу – никакая погода, никакая распутица не могла остановить стремительность передвижений первого Босуэлла. В таланте мотаться по бездорожью позже с ним сравнился разве что третий граф... как странно: я пережил три поколения моей семьи, и из всех громко-голосых, яростных, жадных мужчин за мной останется только седой Болтон да еще внучатый племянник, унаследовавший титул недавно, но уже ясно, что ненадолго.

Так вот, серое пятно на грязи улиц, над которым плыла, парила скала. Каменный короб старого Холируда разворачивал прочь от себя длинный язык Королевской мили, упирившийся в эспланаду, на которой казнили и жгли – при необходимости – за которой зев огромных ворот пропускал путников в цитадель. В Эдинбургский замок, хранителем которого господин граф был вот уже пятнадцать лет. Хранителем, констеблем города и некогда провостом. Незадолго до ссылки Ангус «Кто-рискнет» пропихнул в провосты своего третьего сына, Гэвина Дугласа, начинавшего карьеру священнослужителя как раз у нас в Престонкирке. Канцлера сослали, однако провоста король не сменил, полагая, что власти Босуэлла в Эдинбурге надо иметь хоть какой противовес. Это я понимаю сейчас. Тогда я кожей чувствовал беспокойство первого графа, въезжающего в некогда его собственный город.

Лохматый галлоуэйский пони подо мной пофыркивал. Дорогой я ощутил то, что не уловил по приезду Босуэлла домой – он встревожен. Необходимость с ранних лет подлаживаться к настроению окружающих привела к тому, что я выучился тонко считывать то самое настроение, эта способность была чуть не обязательным условием моего выживания. Лично мне граф не сказал ни слова, если не считать коротких приказов к действию, но то, как он смотрел вперед и по сторонам, то, как выставил арбалетчиков в начало колонны, то, как переговаривался с капитаном стражи... это было понятно без слов.

В Босуэлл-корте ждали. Тут было все ровно так, как рассказывал Адам. Граф выбрал крайне удачный дом в столице – достаточно укрепленный, обнесенный внушительным забором, с палисадом и задним двором весьма обширными, откуда можно было скрытно для главной улицы отступить в любой момент. На Хай-стрит дом скалился воротными колоннами, увенчанными щитами с изображениями Белой лошади, как же иначе, и створы ворот приоткрылись тут же, как первые Хепберны показались в поле видимости привратника. Поезд вполз во двор, всадники спешивались со звоном и лязгом – давал себя знать избыток коровьей кожи и металла на мужских телах. Посреди февраля войти с дороги в протопленный холл – бесценно. Я стоял посреди того холла, задрал голову, рассматривая знамена, свисающие с потолка... вокруг сновали люди, вносили и выносили седельные сумки, оружие, личные вещи господина, дышал жаром камин... а надо мной медленно колыхались полотнища – голова лошади, кеер trust, львы combatant, стропила и роза. То была слава рода, в прикосновении к которой мне

отказано – отсутствием отцовской любви. Когда я смотрю отсюда в тот день, то неизменно вижу мальчика, замершего под грузом того, чему никогда не стать его собственной жизнью.

Потом кто-то случайно толкнул меня, и я очнулся.

На следующее утро я проснулся в чужом для меня доме, в плохо протопленной гостевой спальне, в сумерках приближающейся весны. И долгие часы смотрел в окно, во внутренний двор, затянутый мглой, покада не поднялся ко мне здешний слуга с тазом для умывания и ночной посудиной. Господин граф около полудня отбыл на скалу, и раньше вечера его не ждали. Здесь же, во втором этаже, нашелся его кабинет, и слуга, не осведомленный о тонкостях отношений в семье Хепбернов, совершенно свободно пустил туда мастера Джона. Мастер Джон выкрал из кабинета сочинения Цезаря и вместе с записками о Галльской войне покойно устроился у себя. Господин граф вернулся к обеду, и тотчас Босуэлл-корт взбурлил от голосов: в столице на Босуэлла насели те, кому он был должен внимание по службе – клерки Адмиралтейства, люди провоста, а также и те, кто нуждался в судебном разбирательстве шерифа Эдинбурга и Бервикшира. Дверь кабинета со стуком отворялась и затворялась тысячи раз, потом все стихло, граф убыл снова, чтобы вернуться уже по темноте. Потом опять была очень странная ночь в чужом доме, сны, полные теперь уже мертвых голосов и забытых лиц. Наутро начался новый день, и начался, конечно же, с новых людей. Вчера господин граф решал дела короля на скале и принимал в Босуэлл-корте тех, кого должно.

Сегодня же здесь собрались свои.

Первым прибыл Крейгс, королевский конюший, и сопровождавшие его крепкие ребята в просоленных от пота джеках, в грубо сваляных шерстяных плащах, – и каждый предусмотрительно снабжен «щеколдой». Крейгс кивнул мне, и по его взгляду с оттенком жалости я понял, что он уже знает, что это решено давно, что последним в неведении оставался один лишь я. Дядя Адам проследовал в кабинет второго этажа, и над моей головой, над входом в холл теперь глухо раздавались шаги двух крепких мужчин – они расхаживали от стены к стене, коротко, невнятно переговариваясь. Их речь и их движения сливались в один мерный гул, рокот реки, голос семьи, от которой я был отторгнут. Мне предстояла отныне другая жизнь. Когда я думал о священстве, то неизменно представлял себе отца Катберта. Желчного, нетерпимого, ненавидящего в каждой женщине воплощение Евы, проклинающего оступившихся, зловонного.

Но был ещё дядя Джордж.

Джордж Хепберн двинулся в дом своего брата подобно горе, пришедшей провести логово волка у своего подножия. Мантия на беличем меху, скинутая одним движением мясистых плеч, грянулась оземь и грозила укрыть меня с головой. Фиолетовая сутана в свечном свете жарко пылала лучшим восточным шелком. Кузен Бинстон в пору своего расцвета пытался подражать блеску епископа Островов, однако выглядел как мул в конской сбруе. Так вот, Джордж Хепберн расположился в холле у камина, пренебрегая двумя разговаривающими наверху, велел подать гретого вина с изюмом и поманил к себе.

Я подошел под благословение, но вместо того он потрепал меня по голове:

– С чего так невесел?

Недурной вопрос. Крейгс явно знает, наверняка знает и этот. Я промолчал.

– Отец выбрал тебе наставника? Орден? Я спрашивал его днями, да не припомню, чтоб он упоминал.

– Я не гожусь в священники, дядя Джордж.

– Никто не годится, утешу тебя. А кто думает, что годится, с самого начала – лжет. Ты, по крайней мере, начинаешь свой путь с правды. А за время, что проведешь новиком, в голове появится достаточно поводов переосмыслить жизнь... парень ты умный.

– Но это вовсе не мой путь. Я рожден воином, вы же знаете. А монахи – это о слабости. Что такого в том, чтобы не есть? Я могу это и так. Или не спать? Или молиться?

В животе у дяди Джорджа что-то забулькало. Это он смеялся.

– Монахи – о слабости?! Вспомни, святой Франциск вернулся из крестового похода. Подумай сам, сколько силы, железной силы духа, сколько мужества для этого было надобно!

Вспоминая Джорджа Хепберна, могу сказать только, что благо, когда душевные качества и сердечность у Хепбернов наследуются хотя бы и не по прямой линии.

– Монах – это воин, Джон. Иной монах, как воин, стоит десяти воинов, ибо он борется с врагом в себе самом. Он бьется с врагом, который стоит выше всех в нашем мире – с самим Сатаной и делами его... пока темны дела людей, и над землею стоит ночь – только молитва праведных оберегает души от Сатаны. О каждом, кто ведет сражение с силами зла, с кознями дьявола, можно говорить как о рыцаре, языком рыцарства. Обычный человек или святой вписаны в этот мир, подобно букве, из которой может сложиться имя Бога. Только от тебя зависит, останется ли эта буква во главе строки алой или сотрется. И что в итоге с тобой, с этой буквой, сложится... Выбирай францисканцев. Сможешь входить в дела королей, как в свои собственные, если достигнешь вершин Ордена. Ты будешь на равных с государями.

Но думал я не о государях, а об обетах. Бедность, подумаешь! Когда я что имел своего и дома, кроме необходимого. Послушание? Шрам от разбитой скулы на щеке, сохранившийся на всю жизнь. Но целомудрие... Целомудрие для Хепберна! Матерь Божья, это всегда было свыше моих сил. Я еще не знал, от чего мне придется отказаться, но уже противился оскотлению, ибо то было оно. Единственный, кому путь, предопределенный мне отцом, казался ложным, был Адам, остальные все воспринимали его, напротив, как должное. Недоумение и ярость обжигали меня всякий раз, как я думал об этом – неужели они не видят, не понимают, я не гожусь! Даже мать. Она ответила ударом на удар, но, тем не менее, расценила как благо, как же так?

А дядя Джордж продолжал:

– Было время, я думал так же, как ты. Но священство – иное воинство, и рыцарство также иное. Каждый человек заложник своей судьбы, ее дорог и границ, тебе их не сокрушить. Но границы ведь можно и расширить... на это запрета нет!

О да, запретов никаких не было – за исключением, разве что, библейских заповедей. Но рай не для Хепбернов, нас заповедями не смутит. И первый урок несмущения мне преподавал именно дядя Джордж.

Джордж Хепберн был, как я, младшим, и столь же выбивающимся из семейной колеи. Рослый, весьма обильный телом, с гладким лицом византийского скопца, и умом столь же изворотливым, как у них, он упорно и определенно не вменялся в избранную для него судьбой роль. Он с равным успехом орудовал и палицей, и секирой, очаровывал любого ядом своих речей, о его женщинах не болтали ни он сам, ни служки, однако известно было, что епископ Островов более одной ночи подряд один не ночует – и наложницы приходили к нему сами, по своей воле. Словом, то был причудливый, но несомненный образец мужественности. «Ты природный Хепберн», – сказала мне мать, но ведь можно было оказаться Хепберном и через него... я хорошо помню их взгляды, их разговоры во всякий приезд милорда епископа в Хейлс. В те годы я бы принял любого своего родственника в отцы, кроме собственного отца, если бы только она создалась. Но леди-мать лишила меня этой надежды.

– Не падай духом, Джон, – епископ Островов потянулся обнять и впечатал меня в горный склон своего тела.

Тут с шумом и громом прибыл приор Сент-Эндрюса Джон Хепберн, мой драгоценный дед и крестный, собственной ехидной персоной. Последний оставшийся в живых сын первого лорда Хейлса, автор книги по соколиной охоте и охоте вообще, основатель колледжа Сент-Леонардс в Сент-Эндрюсе, в прошлом завзятый путешественник, сейчас в своем городе он был занят тем, что на собственные деньги возводил и частично подновлял городские стены.

Крючковатый нос, вечно сующийся во все дела королевства, хваткие руки, прибавившие малую государственную печать, редкостное злопамятство – и память тоже хорошая. Был он типичный Хепберн, разве что светлоглазый, ездил верхом на белом жеребце самого зверского нрава, при себе имел также, как дядя Джордж, отменный отряд вооруженных служек. Теперь от топота молодых клириков, больше похожих на рейдеров, стены Босуэлл-корта наполнились грохотом не меньше, чем от нашествия действительных рейдеров Крейгса.

– Бинстон, распорядись! – и приор змеей извился с седла на землю, и сходства добавляла серая, дорожная, заляпанная по нижнему краю мантия священнослужителя.

«Бинстон, распорядись» да «Бинстон, присмотри» было тогда излюбленным обращением в адрес моего кузена, старше меня десятью годами – Патрика Хепберна Бинстона, бывшего приходского vikария Престонкирк, выпускника Сент-Эндрюса. Лоснящаяся рожа поперек себя шире, бегающие масляные глазки и полная пазуха подлостей – он никогда мне не нравился. Два племянника было у старого Джона, который уже и тогда был старым – Уитсом и Бинстон. По уму и характеру приору был ближе Джеймс Хепберн Уитсом – ближе настолько, что он подталкивает того на епископский престол Морэя, а второму, Патрику Хепберну Бинстону, ходили слухи, пообещал коадьюторство при своей персоне – в случае чего – когда тот еще учился в колледже Св.Марии. Но где обещание и где выполнение? И зачем при таком-то раскладе был нужен старому Джону двоюродный внук, хотя и крестник?

Но я ошибался, крестник внезапно оказался нужен.

Обедали шумно и обильно, в три перемены, пользуясь последними днями перед Великим постом, чтобы гульнуть. Городской повар Босуэлла был не хуже того, что в Хейлсе. За пироги с крольчатинной Крейгс вынул из поясного кошель полукрону, велел передать в кухню. И говорили также обильно. Я поражаюсь, насколько мало церемонится господин граф в кругу своих, говоря о высших – о короле, его супруге, его дворе, как тонко и емко он понимает все связи, все живые нервы начинки этого, общешотландского пирога. Они спорили с Крейгсом до хрипоты, старый Джон посмеивался, вкидывая в свару реплику-другую, а дядя Джордж – тот вообще помалкивал, улыбался, сложил обе лапы на увесистом пузе, поблескивал глазами на спорящих. А потом одной фразой развернул весь их спор по западу страны и островам, как знаток, ровно в противоположную сторону... За десертом речь зашла обо мне. Трое старших Хепбернов с добавлением четвертого, самого старшего, принялись перебирать на вкус имеющиеся возможности.

– Да оставь ты его здесь, францисканцам, – предложил дядя Джордж самое простое, явственно подмигнув мне. – Обитель молодая, но дельная. Настоятель там мне знаком, душа-человек, не без причуд, но с кем того не бывает... а по нужде так я и присмотрю. В епархию, – он крепко зевнул, – раньше мая ехать мне не с руки... а не хочешь, так выбери любых столичных – августинцев Холируда, черных доминиканцев, кармелитов.

– Нет, – скрипуче молвил тут старый Джон. – Лучше отдай парня мне. Чем выстричь макушку сразу, пусть сперва понюхает студенческого житья. То небесполезно, знаешь ли, будущему церковному иерарху.

На минуту во мне затеплилась надежда. Вынырнуть из-под каменной плиты, уехать в университет?! Бинстон уже посматривал на меня без восторга, предвкушая необходимость делиться фавором приора. Однако господин граф Босуэлл думал иначе:

– Это, дядя, мне не годится.

– Воля твоя, – кажется, приор немного обиделся. – Но что не так? Неужто ты думаешь, после целого колледжа я не справлюсь с образованием собственного внука?

– Не справишься с... чем? Вовсе нет. Джону как раз не нужно образование, он скудоумен. Ему нужна дисциплина, нужен порядок и какое-нибудь простое занятие, которое пригодило бы его к дальнейшей скромной жизни. Вот для чего он рожден.

Они говорили обо мне при мне – словно я был стул, стол или иной предмет мебели. Скудоумен! Я был предмет разговора, но не человек. Я был сложностью, которую следовало устранить как можно скорее, но не в привычках господина графа было не поиметь выгоды для семьи с устранения сложности из нее же. Однако граф обманул сам себя: прибыл в столицу искать мне покровителя и наставника, но в действительности страшился выпустить из рук – что, если наставник окажется слишком хорош? Что, если мне будет слишком хорошо с ним? Такого Босуэлл не потерпел бы. Та еще задача – соблюсти свои политические цели, прослыть достойным отцом да при этом отпрыска загнать поглубже в подпол, с глаз долой. Помимо прочего, решал он и сложный вопрос – глава которой монастырской общины годен ему сейчас в союзники, кто встанет за него потом, если, неровен час, нужда объявится – с учетом того, сколько сейчас он внесет в монастырскую казну на мое содержание...

Разошлись от стола все уже в глухой темноте и без единого мнения. Свечи в канделябрах гасли одна за одной, те же, что горели еще, МакГиллан прикрывал колпачком, и холл постепенно погружался во мрак. Сервировку отправили в кухню, остатки еды скормили собакам – любимая гончая графа клубком свернулась у его ног, сыто, счастливо вздохнула, приготавливаясь спать. Все кругом молчало, и наконец...

– Ну, – спросил его старый Джон, – зачем звал?

Они остались вдвоем у камина. Босуэлл вытянул ноги поверх пса, поставил стопы тому на спину, пристально глядя в огонь:

– Звал на совет, дядя.

– Советов ты, Патрик, никогда не принимал, не дури голову. Говори дело.

Я боялся вздохнуть, шевельнуться. Тут происходило что-то важное, но что – я разгадать не мог. В этом, сейчас говоримом, возможно, находится и разгадка беспокойства господина графа и лорда-адмирала и прочая. Пока они забыли обо мне, я притулился в дальнем конце стола, опустив голову на руки, больше похожий на тук ткани, чем на человека... и слушал.

– Дело? Дело таково, что нас либо скинут, либо мы обретем невиданную крепость. Я, как понимаешь, предпочитаю последнее.

– Братья знают?

– Да уж знают, вестимо. Джордж и написал мне, чтоб я не прозевал, когда закипит, когда пена пойдет...

И далее, как перечень ахейских кораблей в «Илиаде», из уст господина графа хлынул перечень его врагов. И клянусь, я узнал много нового. И прежде всего понял, что Патрик Хепберн, граф Босуэлл, вознесенный на вершину могущества, не верит вообще никому. Далее я узнал, что его самым лютым образом ненавидят и равно боятся примерно все – все те, кому он не верит. И ненавидит, в первую очередь, сам король – для господина графа сие тайной не было. И королева также симпатией к графу Босуэллу не блистала. Выходило так, что самого Босуэлла сейчас беспокоили придворные горцы во главе с Аргайлом и шурином Хантли. Король, как его несчастный отец когда-то, размежевывая и стравливая, склонялся к горцам. Самовластие Патрика Хепберна далеко не всем приходилось по вкусу, ряды его сторонников начали пустеть – в том числе, уходили и те, кто был из долин. Менее чем за четверть часа граф отрисовал дяде полную картину происходящего – с отходами, подходами, объездными маневрами. С причинами и следствиями. С милостями и казнями. С перспективами – ближними и дальними.

Это правда, что он не спрашивал совета – ему нужно было выговориться. Старый Джон и не прерывал его, понимая. А тот парил на головокружительной высоте диавольского честолубия – и только там, тогда, я понял всю меру его, всю глубину. Он рассуждал вслух, он бредил вслух своей властью, как пьяница бредит следующей, самой бездонной чаркой:

– Бойды? Их много. И что делать с ними, сукиными детьми? А, знаю. Мне нужен противовес. Который сейчас на Бьюте.

В эту минуту я восхищался им. Да, несмотря на все нанесенные им раны.

– Который... где? Ты в уме ли?!

Противовес был, видимо, таков в своем качестве, что не утерпел даже старый Джон.

Но Босуэлл смотрел на приора стеклянным взглядом, изощренным умом витая в чертогах грядущего. Он все там уже видел, все построил – то было ясно по блеску глаз. Оставалось теперь подогнать упрямую реальность под его совершенные планы:

– У меня есть девка. Закрепим это дело союзом! Я и сам первым браком был женат на одной из них. Куда он денется – между выбором загнуться от чахотки на Бьюте или женить старшего внука? И в упряжке с ним мы сокрушим всех, всех... Что ты скажешь о новом величии нашей семьи, а, дядя? Тем более, что король не заслуживает моего доброго отношения, он желает предать меня в руки моих врагов. И это после того, что я для него сделал... после *всего того*. Этот сопляк, мальчишка этот...

Мальчишке было лет тридцать пять, и царствовать оставалось четыре года, но в памяти, в разговоре Босуэлла он все еще оставался смертельно напуганным юнцом, преданным королевскими слугами в Стерлинге, выданным мятежникам.

– После Сочиберна, наконец! – произнес он так, словно дерзости короля вправду предела не было. – Но я предам его первым!

Глаза старого Джона хищно поблескивали, крепко оплетя пальцами резные подлокотники кресла, он чуть подался вперед:

– А что там было-то, при Сочиберне? Человек Греев, как говорят?

– Дядя, ты в самом деле хочешь, чтоб я ответил тебе на этот вопрос, да? Ты на это считаешься?

Я услышал: как будто что-то клекотало и рвалось у него в груди. Он смеялся.

– Ну, ты мог бы... – отвечал ему с той же интонацией старый Джон.

– Конечно же... – граф примолк, но тут взгляд его упал на меня:

– А, ты все еще здесь? Ступай.

Последнее, что я видел в тот день, – его плащ, брошенный на лавку вблизи огня.

Серый, синий, голубой с тонкой желтой просновкой – на алом шелке подбоя.

Шотландия, Ист-Лотиан, весна 1508

Я не спал всю ночь накануне отъезда, боясь, что он просто оставит меня в этом огромном доме одного. Запрет двери на ключ и уйдет, и я умру тут – сам не помню, откуда мне в голову зашла эта дикая мысль, в доме же находилась прорва народу. Возможно, я тогда спутал приснившийся сон и явь. В итоге наутро я сваливался с седла, что закономерно доводило его до бешенства. Благодарение Богу, мне досталась кобылка доброго нрава, она несла сонного мальчишку бережно, словно руки матери. Копыта пони процокали по мостовой мимо садов францискантов-обсервантов, голых ветвей за высокой стеной, к южной дороге, вон из города.

Граф Босуэлл поступил совершенно верно, вырвав меня из привычной среды, ничего не объяснив, увлекая за собой. Так и надобно осуществлять переход из одного возраста жизни в другой, чтобы не успевать тратить душу на бесплодные сомнения. Беда в том, что мои переходы обычно осуществлялись от плохого к худшему. После Масселбурга мы не свернули к югу, как следовало бы по пути в Хейлс, а двинулись вдоль побережья с тем, чтобы остановиться в Лафнессе, перед воротами монастыря кармелитов – воротами, которые захлопнулись за мной, знаменуя тот самый переход. Граф не собирался возвращать меня в Хейлс, не найдя наставника, как я втайне надеялся – граф сбыл меня с рук. Надо сказать, что две недели в Лафнессе я помню крайне скверно, а лучше и припоминать не хотелось бы. Когда твой мир переворачивается с ног на голову – а такое несколько раз бывало в моей жизни – на некоторое время застываешь в недоумении, как жонглер, стоящий на канате: один неверный шаг, и гибель неминуема. Когда я не знаю, куда двигаться, то не двигаюсь никуда – вот так было и у кармелитов. Я замер.

Коричневая туника, коричневый же наплечник с капюшоном, веревка для опоясывания. Еда, скудная не только по приближению Поста, но и по монастырскому уставу. Всенощная с утреней в половине первого ночи, короткий сон, затем утренняя в четыре часа, снова сон, затем пробудка с восходом солнца. Не более часа личной молитвы (не будучи искушен, я честно просил у Господа здоровья матери, Адаму и Мардж, на большее смирения у меня не хватало), затем капитул с чтением Евангелия, с речью аббата. Аббат был старый, гнусного вида, от него широко смердело чем-то кислым. Он смотрел на меня, как на мясо, привезенное в кухню – и из того я понял, что Босуэлл немало ему заплатил. Затем, после речи, когда аббат замолчал – обвинительная часть, с покаянием согрешивших. Утренняя месса и вновь личная молитва (первое время я ужасно скучал, потому что не знал, о чем просить Господа снова – не талдычить же ему одно и то же круглые сутки?). Потом монастырская месса, работа и трапеза. Привыкшему к кухне Хейлса, мне сводило кишки от боли после тех трапез. Затем снова работа – сейчас, пока сад по весне еще спит, то была расчистка многолетней грязи, скопившейся в разных частях двора. Затем вечерня, ужин, повечерие, отход ко сну – и вот уже один из старших братьев с фонарем в руке обходит все постройки, приемную, хоры, кладовую, трапезную, лазарет, закрывает входные ворота. Я был там не один – еще пятеро мальчишек в возрасте от восьми до шестнадцати ожидали пострига у кармелитов. Деля с ними dormitorio, каждый день я просыпался с надеждой, что сегодня уж точно явится Адам, вмешается, увезет меня отсюда. Но шли дни, Адам не появлялся. Жизнь кармелитов устроена так, чтоб им было можно проще и лучше молиться – и это правильно, именно в этом подлинное предназначение монаха. Не в садах, конюшнях, рыбных садках, скриптории – нет. Смысл монаха – в молитве, он не человек, а источник иместилище слов, уходящих прямо на небеса. Мне не позволяли даже читать, направляя молиться – при том, что я еще не был ни монахом, ни даже новиком. Кармелиты жили привычным для них образом, это понятно. Я только не понимал, где и почему в этой жизни я? Я, *unblessed hand* фамилии Хепберн.

Спустя две недели у кармелитов я застал молодого брата Иеремию в храме – молящегося, лежащего на полу, простершегося крестом. Он извивался на плитах песчаника, он бормотал о том, что на шестой день, выпавший на субботу, Иисус распятый снизошел и поцеловал его открытым ртом, совсем так, как делают шлюхи, но это совсем не то, что ты подумал, Джон, вовсе нет, то был призыв к таинству понимания его пресуществления. Он трясся, дурно пах, изо рта его змеилась блестящая струйка слюны. Помешанные, извращенцы, безумцы – вот кто меня там окружал.

Лафнесс оказался в числе первых обитателей, откуда я сбежал. Отец-настоятель там был из наших, из ваутоновых, но и это никого не спасло.

– Пять ран Христовых! – молвил Адам, увидав меня в Хейлсе, оборванного и грязного. – Да он же убьет тебя, младший...

И послал за миской порриджа в кухню. Мардж смеялась и плакала.

Я перебрал их все – все монастыри Ист-Лотиана. Я сбежал отовсюду. Доминиканцы, кармелиты, августинцы Эдинбурга – да, я удрал даже из аббатства Холируд, хотя именно это потребовало от меня особой изворотливости. Тринитарии Данбара, тринитарии Дирлетона и снова Данбар – на сей раз кармелиты. В Хаддингтон граф и вовсе не повез меня, всего-то пять миль от Хейлса, ясно, что я окажусь дома уже к вечеру, окажусь, только чтобы попасть под раздачу – с отчаянием, свойственным безумию. Мне доставляло странное удовольствие видеть, как всякий раз он захлебывался бешенством, прикусывал губу, шел темными пятнами в лице.

– Добро, Джон, – сказал он, поймав меня на побеге впервые. – Не думаешь же ты так легко отделаться...

И сдал в Холируд обратно – на хлеб и воду, в карцер под слово настоятеля. Но никакое слово не могло удержать меня в четырех стенах, когда оно не было моим собственным.

Он не мог постричь меня в монахи силой, и знал это. Не мог и вытребовать с меня обета – я должен был дать согласие на постриг. Я же согласия на постриг не давал. А он не собирался отказываться от того, чтоб принудить меня. Странное дело, если он не смог сломать меня в первые десять лет жизни, то почему думал, что ему это удастся после десяти? Тогда каждый новый нанесенный им удар противоестественно закалял меня. И даже если он даст свое согласие за меня – и аббат примет его – мне все равно предстоит провести не менее двух лет новицием в ордене... стало быть, мне надо было выиграть время.

Странное дело – в какой-то момент осознать, что твой собственный отец безвозвратно проиграл тебе. Во времени. Он все равно сдохнет первым, если только я не позволю убить себя.

Острая, грубая игра шла между нами. Его задачей было сломать, моей – сопротивляться. Я понимал, как пьянит его возможность причинять боль ребенку, зависящему от него и беззащитному – причинять законно, быть одобряемым всеми, принимать сочувствие окружающих из-за немыслимой, нехристианской строптивости младшего сына, я понимал это, чувствовал, но не мог остановиться в своем протесте, как не мог перестать дышать. Я и не знаю, чего мне тогда хотелось больше – чтоб он оставил меня в покое или уже убил. В иные дни мне казалось, что в теле не осталось ни единой целой кости. Я больше не прибегал ни к чьей защите сознательно – но только к защите силой своего духа, он же продолжать «учить» меня, когда розгами, когда плетью, когда кулаком, всякий раз в расплату за новый побег.

– Почтение, – говаривал он при этом, – в тебе маловато почтения к старшим, Джон. А эта добродетель весьма полезна в жизни таким, как ты.

Он мог сказать что угодно, и что угодно сломать мне, но на деле становился смешон и понимал это. А граф Босуэлл не мог позволить себе стать смешным, да вдобавок из-за какого-то сопливого мальчишки. Кто не способен навести порядок в своем доме – не наведет его в стране, правило золотое. Мой упорный протест напрямую угрожал высоте его положения.

Оказавшись в Холируде в третий раз, я отказался не только есть – что было воспринято братией с пониманием – но также и пить. Настоятель велел поить меня силой, не желая брать на душу грех моего самоубийства, и вызвал Босуэлла в Эдинбург.

Шотландия, Эдинбург, францисканское аббатство «Светоч Лотиана», май 1509

Самое близкое – и самое простое. Мог ли я думать тогда, что однажды ввяжусь в кровавый уличный бой, начиная буквально от этих стен? Неисповедимы пути Господни.

Мы стояли лицом к свету – пусть даже огню камина, а за спиной у нас была тьма. И перед нами находился единственный человек, могущий помочь Босуэлла не стать убийцей собственного ребенка, а мне – принять уже то, что отнюдь не всё в мире совершается к моему удовольствию и по моей воле.

Ибо, надо признать, мы несколько зашли в тупик.

Глава обители францисканцев-обсервантов в Эдинбурге, по праву прозывавшейся «Светоч Лотиана», поднялся с кресла, едва доложили о посетителях, и теперь рассматривал нас с тем благодушным любопытством, которое, как мне привелось узнать позже, было у него маской глубокой иронии. На вид ему казалось не больше тридцати лет, невысокий, коротко стриженный, лысину маскирующий тонзурой, с изящными запястьями, чересчур свободно болтающимися в рукавах серой робы, с треугольным лицом хитрой рыбки. Словом, человек, кого граф Босуэлл менее всего мог бы счесть серьезным противником. Однако то, что хитрая рыбка была хищной, стало понятно едва лишь господин аббат открыл рот:

– Итак, вы пришли ко мне, граф Босуэлл... почему? Именно вы, именно ко мне? Выбор довольно странный, учитывая вашу роль на поле Сочиберна.

Джеймс Стюарт, в монашестве отец Иаков, смотрел на нас, чуть наклонив голову к плечу, и ему было чертовски любопытно. Неистовый Босуэлл и вихрастый встрепанный мальчишка

с глазами загнанного лисенка... Все называли его отец Джейми – имя то же, что у двоюродного брата. Но тем братом был сам король. Господин аббат происходил от Александра, герцога Олбани, и несчастливцы Кэтрин Синклер. Но того я не знал, что «странностями» в нем дядя Джордж называл вовсе не это.

Господин граф с полнейшим хладнокровием позволил арбалетному болту просвистеть мимо уха.

– Потому что из всех прочих мыслимых мест этот, – он посмотрел на меня, – мальчик сбежал, из некоторых так даже и дважды. Так сильно в нем горит рвение стать именно францисканцем. Я не желаю вам доброго вечера, досточтимый отец Иаков, ибо с приходом Джона под эту крышу вряд ли у вас скоро выдадутся добрые вечера, но мой брат, архиепископ Островов, отзывался о вас, как о человеке толковом...

– Смотря что считать толком, господин граф.

– И уверял, что на вас можно положиться.

– Опять-таки, смотря в чем. Устав Ордена и совесть христианина – две неудобнейшие вещи, которые мешают мне быть полезным людям, подобным вам. С какой целью вы явились, позвольте спросить, кроме как передать похвалу от вашего достойного брата?

Вот как! Этот человек считает дядю Джорджа достойным. На этих словах я ощутил к отцу Джейми совершенно необоснованную симпатию.

– Я ищу этому мальчику наставника, который сможет привить ему вкус к жизни покорной и богобоязненной.

– А вам, хотите сказать, не удалось?

– С прискорбием вынужден согласиться.

Это прозвучало слишком на грани шутки, чтобы не быть правдой – правдой, которая вырвалась сама по себе, непрошенной. Впервые за время разговора отец Джейми обронил свой бархатный взор на меня:

– Не скрою, очень заманчиво поближе рассмотреть того, кто осмелился противостоять вам, Босуэлл. О да, вы составили себе славу, молодой человек...

С этими словами он быстрым движением ухватил меня за руку, засучил рукав сорочки. Кровоподтеки на предплечье были достаточно красноречивы, хотя основное осталось скрыто под платьем.

Джеймс Стюарт посмотрел на Патрика Хепберна:

– Я возьму его. И вы перестанете истязать мальчика, граф. Я не могу проверить, как вы изволите обращаться с сыном дома, однако в стенах обители он принадлежит Богу.

Лорд-адмирал ухмыльнулся – той фамильной усмешкой, от которой у меня вечно проходил мороз по коже – ровно так же улыбался мой второй старший брат и его любимое дитя.

– На твоём месте я бы последил за собой, Джон, чтоб не слишком часто покидать эти стены...

Это было время, когда сыновья королей бестрепетно уходили в монастырь, чтобы отмолить грехи отцов. Отец Джейми был незаконный Стюарт, но кто бы сказал о нем, что он не сын великой династии?

– Вы знаете, Босуэлл, что я знаю, каким образом куплено ваше положение при моем кузене-короле...

– Как бы то знание не вышло вам боком, ваше преподобие.

Но отца Джейми мало трогали любые угрозы, даже и те, что изливались из уст моего отца. Он улыбнулся.

– Так вот, дорогой граф, в случае убийства вашего сына – мне безразлично, где оно произойдет, и кто будет в нем повинен – вас не спасут даже ваши прославленные преступления. Достаточно ли ясно я выразился?

Долгий темный взгляд отца остановился на мне.

– О, вполне, – сказал он несколько мгновений спустя. – Вполне. Ни к чему беспокоиться. Я ведь по-своему привязан к этому мальчику, и, кроме прочего, внес за него столько в монастырские сундуки, что его жизнь – в моих интересах. Не правда ли, Джон?

– Как вам будет угодно, милорд.

Рана, нанесенная отцом, переменяла меня – не только телесной печатью. Отныне мне нужно было лицо, по которому нипочем не поймешь, что я думаю – и я занялся его обустройством. Мне нужен был щит, за который я стану прятаться – и я принялся обтягивать его кожей. Собственной кожей. Рана зажила, но остался шрам – более внутри, чем снаружи. Я не дам этому человеку обезоружить меня. Я более никому и никогда не дам себя обезоружить.

Граф кивнул аббату и вышел в низенькую дверь, предусмотрительно пригнувшись. Отец Джейми стоял и глядел ему вслед, заложив руки за спину, что-то бормоча себе под нос на латыни. Я прислушался. *«Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Идет ветер к югу, и переходит к северу...»*

И, когда дверь за Босуэллом закрылась, аббат францисканцев второй раз за вечер взглянул на меня:

– Попробуешь остаться, Джон?

Я попробовал – и остался.

Наверное, я просто выдохся к той минуте, когда отец Джейми предложил перемирие, мне всего лишь было нужно место, где лечь и сдохнуть – или зализать раны. «Светоч Лотиана» оказался той самой норой, куда я залег, чтобы выжить несмотря ни на что. Для выживания это было, пожалуй, одно из самых уютных мест. В обители тогда монахов насчитывалось человек сорок, из них ни одного, готовящегося к постригу прямо сейчас, но проживало несколько мальчишек – моего возраста и помладше. Еще аббат брал учеников в монастырскую школу. Среди них затерялся и я.

Гармония – первое, о чем сказал мне отец-настоятель в приложении к монастырю. Над воротами обители значилось: «Во славу и восхваление Иисуса Христа и Его бедного слуги Франциска. Аминь». Внутри же обители был покой, порядок, тишина и размеренность, присутствующая разве что небесным светилам. Главный храм обители, во славу Богоматери, святого Франциска и птиц небесных, невелик, но прекрасен. Там и алтарь был крылат, створки его распахивались, обнимая душу молящегося. Я бы сказал, храм выглядел вне Устава, как и, к примеру, библиотека, богатейшая из тех, что мне встречались, огонь Реформации впоследствии сожрал ее... Однако отец Джейми трактовал Устав вольно, и королевское происхождение наряду с добрыми отношениями среди клира позволяло ему всякий раз уходить от порицания министра провинции, обычно-то обсерванты ведут себя поскромней. Оправдание тут было то, что ровно ничего из имевшегося в обители отец Джейми не использовал к личному удовольствию. Как положено, настоятель не имел ничего своего – только орудия труда, у него то были перья и чернильница. Библиотеку собрал для просвещения юношества – при монастыре обучали чтению, письму, начальным знаниям арифметики. А возвышенный храм, по его мнению, отлично служил собой Господу:

– Красота суть чистота и свет, произведение искусства – плод избавления от тьмы, победы человека над мраком. Мир горний, мир духовный будет дан тебе во владычество... разве же это не высший предел мечтаний?

Мир горний. Я же желал мира земного, плотского.

Иногда я думаю, что там была моя единственная возможность спастись, в чаше «Светоча Лотиана», но я слишком горел страстями и пренебрег. Но можно ли было ждать бесстрастности от юноши моего рода и возраста?

Монастырь – другая семья, также данная тебе навеки. Добро, если аббат попадется светлого ума, тогда и братья подберутся достойные. Глупы те, кто твердит о монотонности монашеской жизни, не зная ее. Ни одних из твоих товарищей не одинаков. В аббатстве есть лентяй, трудолюбец, педант, рассеянный, усердный, благочестивый, легковёрный, свой льстец, ученый, простачок, на все руки мастер – каждой твари по единице. Есть болтун, ворчун и услужливый – настолько, что не знаешь, куда скрыться от доброхотства. Есть блаженный и есть терзаемый бесами, хотя бы изредка, но в те часы требующий особенного внимания аббата. Есть уродливый, обросший складками телес, и есть юнец, чья красота однажды послужит яблоком раздора. У каждого в обители – свое жало в плоть, свой грех, свой недостаток, отчаянное несовершенство. И дело аббата – извлечь жало и выпустить яд из него на общее благо. Задача нелегкая, однако отец Джейми справлялся. Когда же природа человеческая нашему аббату не поддавалась, отвечал так: *«Не может познать раб Божий, сколь великое имеет терпение и самоумищание, пока все покорны ему»*. И улыбался. И если бы я не видел, каким может быть он жестким – в первую нашу встречу, то принял бы его за простачка.

Где любовь и мудрость, там нет ни страха, ни невежества. Где терпение и смирение, там нет ни гнева, ни смущения. Где покой и размышление, там ни смятения, ни тревоги. Где милосердие и любовь, там ни заносчивости, ни черствости. То был человек, странно исполненный любви – в странных ее проявлениях. Дух веет, где хочет. Но тот, кто знает, зачем дышит, имеет сравнимо с прочими смертными неоспоримое преимущество. Небольшой человек, сам похожий на птицу живостью, звонкостью речи, рваным движением взлетающих рук. Я тогда почти сравнялся с отцом-настоятелем в росте и мог глядеть на него вровень – прозрачный взор, худое лицо, ранняя залысина надо лбом. Наверное, он был бы красив в моих глазах, если бы я пригляделся, но мне было не до того. Под серой робой таились секреты посильней загадок, выбалтываемых языком пусть даже обиняками. Плечи его были изрыты ременной «дисциплиной», занятию этому он, сомкнув веки и уста, кроме обычного поста предавался каждую пятницу, дабы напомнить себе о страданиях Господа нашего, и у братии это называлось «аббат кается». Но каялся отец Джейми на самом деле в том, о чем вслух не говорил никогда, и к Христу это имело малое отношение. Наиболее часто он называл своим грехом одно – попытку понять людей, поясняя при том, что творение Господне поистине постижимо лишь Господом. С другой стороны, францисканец Джеймс Стюарт был человеком весьма просвещенным, из тех братьев, кто прошел дорогой познания вслед за Бонавентурой, за англичанином Бэконом и нашим Иоанном из Дунса. Два сочиненных им литургических гимна до недавнего времени исполнялись даже в Холируде. Больше всего я любил слушать его. Ему, как брату Филиппу Высокому, как пророку Исае, достоверно ангел прикоснулся пылающим углем к губам. Не понимаю слова «красноречие» – настоящая речь, врезающаяся в сердце, она не о красоте и не из красоты. Она именно об огне иного открытого сердца.

*Дай мне, Господи, утешать, а не ждать утешения,
понимать, а не ждать понимания,
любить, а не ждать любви,
ибо, кто дает, тот обретает,
кто о себе забывает – находит себя,
кто прощает – будет прощен,
кто умирает – воскресает для жизни вечной.*

Я служил тогда ему – и всем, кто нуждался, и учился тоже. Братья росли пажами у родителей Хоумов, я же взамен оказался пажом при незаконном принце династии Стюарт, облаченным в серую робу минорита. Моя служба началась тут же, по завершении первой трапезы в монастыре, когда отец Джейми велел келарю выдать, а мне поднести чарку вина самому старому из нас, отцу Иеремии, ибо «он сегодня родился». То была годовщина обращения полу-

слепого блаженного. Новорожденный пил, стуча беззубыми челюстями, жадно хватая ими край настоятелева серебряного бокала, капли вина проливались на салфетку, как капли крови Спасителя. В выпитый Иеремией бокал плеснули воды и поставили набухшую почками ветку. Летом тут был бы цветок.

Когда придет и мой черед родиться, буду ли я ощущать, что до той поры не рождался?

Отец Джейми был любовью и соблазнял также любовью. *Станем любить не словом и языком, но делом и истиною.* Мне, доселе имевшему представление лишь о суровости монастырей, это было странно и дико. Он отражал ту часть отцовства, которой мне не досталась, она светила в Господе и приводила мне в братья Христа. Кто отказался бы от подобного брата, даже имея самого лучшего? Вокруг аббата вечно крутились мальчишки из монастырской грамматической школы, руки его были заняты их макушками, если он не делил в тот момент с ними свой настоятельев паек. Нетрудно быть добрым, когда это не требует от тебя голодать, попробуй стать добрым и в нищете. Отец Джейми смеялся моей порывистости и горячности, говоря, что мне следовало отправиться в Орден иоаннитов, сражаться за Святую землю... но коль скоро Бог привел меня к обсервантам, то оружие мое – слово, его и надобно отковать. Тем более, что открытие Нового света пролагало и новые пути тем, кто жаждал нести слово Божье. И разве я бы не смог? Занятия в монастырской школе начинались поутру, не отменяя всех обязанностей монашества – уставал я вдвое. Никакой пищи мне тогда не хотелось больше, чем сна, при том, что от болезни роста я почти всегда голодал. У меня внутри словно пустой кувшин образовался, куда проваливалась еда – и обязательные блюда, и пайки. Но важно ли это, когда можно было учиться вдоволь – и ровным счетом никто не порицал меня за стремление днем и ночью сидеть над книгами! Обитель поставила мне почерк – послушанием в скриптории, обитель дала мне начальный французский – был у нас и брат из-за Канала, обитель научила меня терпению – пока проводил дни помощником у брата-лекаря. Обители понемногу удавалось все то, чего не мог добиться от меня родной отец побоями – эка невидаль. Я даже почти забыл о том, о чем переживал – об оскотлении, о целомудрии, о смерти телесной ради жизни духовной. Когда не знаешь, что это, тебе и терять нечего. Я не задумывался, теряя.

Мне выдали две рясы новиция, веревку, штаны и капорон до пояса, башмаки позволили оставить свои. Помню, как к исходу первого месяца в монастыре, в конце мая меня посетило проникновение Духа. Я всегда понимал Его как прозрение, понимание сути человека и вещи из тех, которые передо мной, не как мистический экстаз – подобный опыт мне неведом. Я думал о бедняке из Ассизи, о том, какой новой стороной поворачивается ко мне мужественность – ко мне, отторгнутому из семьи, как ни на что не годный отщепенец. Стало быть, если так, положение мое как раз наиболее завидно? Чем больше унижен, тем сильнейшим доведется мне встать с колен? И разве это не мужественность – укрощать зверя в себе часу от часу и день за днем? Быть может, дядя Джордж прав? И только простаки слепы к чудовищному напряжению сил, которое потребно монаху, дабы не сбиться с пути? И какого рыцаря не оборол бы я тогда силою духа? И какой цели тогда бы я не уязвил словом?

Из кузницы раздавалась мерная капель мелкого молота, размашистое уханье крупного. На моих ладонях цвели и лопались волдыри мозолей – вчера я сам был там в подмастерьях. Завтра мой черед помогать в лазарете. Братьям-миноритам заповедано трудиться всякий час, который не занят молитвой или вот, учебой. В кухне пекли хлебы, сытный запах тек над двором, голодная слюна затопила рот. Я склонился к странице, перечитывая ее в третий раз. Единственное, чего просил у меня Франциск, а я не мог, так это возненавидеть человеческое тело, оно казалось мне совершеннейшей диковиной тогда, вызывает восхищение вложенной в него мощью Творца и теперь. И все же в нем, во Франциске, было неизмеримо меньше ненависти, чем в окружающем меня тогда мире, в котором даже близкие лгали и убивали с завидной лег-

костью. Простачок из Ассизи вошел в мою душу именно тем, что я повторял сейчас его путь – отказавшись от мечты стать рыцарем, удалялся в безмолвие. Ведь они, серые братья, подчас говорили молча. Не все, конечно, но было порядком тех, у кого слова считались истинно суета. Постепенно я тоже привык доверяться жестам. Я почти забыл ощущение рукояти меча-бастарда в ладони. Если теперь мне нужно еще и разучиться ездить верхом – что ж, я готов был и на это, таким сходным казался мне выбранный путь. В юности я каждый чужой путь примерял на себя, и следовал им, и сбивался с собственной дороги. И понял только потом, много лет спустя, что для каждого путь у Господа свой.

Страницы шептались под пальцами. *Госпожа святая Любовь, Господь да спасет тебя с сестрой твоей святой Покорностью... Восхваляем Ты, мой Господи, со всем Твоим творением, начиная с господина брата солнца... Восхваляем Ты, мой Господи, и за сестру луну.* Брат Солнце, сестрица Луна... у меня они были, вот как он узнал, что я из той же небесной семьи? Помню, я сидел во дворе, на солнце, оттаивал после долгой зимы моего детства... и глотал подлинные поучения святого Франциска и легенды о нем, как в детстве же – сказки старой ведьмы Элспет МакГиллан. Каждое лыко в строку, каждая строка под кожу, словно заноза, однако от тех шипов распространялся не зуд, но мед. Они, напротив, заживляли мои раны. А потом пришел старый брат Лаврентий и начал браниться, чтоб я не смел выносить книги из библиотеки на воздух, ибо тут – сырость и голуби. В обоснование брани ссылался он, конечно же на Устав, глава десятая: *«и чтобы не стремились не знающие грамоте обучиться»*.... впрочем, прибавлял он здраво, с тобой-то что ж сделаешь, если ты уже учен, на беду твою? Накинулся на книгу в моих руках, как коршун, унес прочь. Вместе с ней унес он и то прозрение, которое не получило полной формы в душе, ушло вместе с книгой... Слава Богу, брат Лаврентий, порицая ученость, был одинок в столь строгом исполнении первого Устава.

– У тебя хорошая голова, Джон, – говорил настоятель, сверяясь с моими успехами, когда радостно, когда с оттенком изумления.

Хорошая голова? Первый раз меня хвалили за то, что меня отличало от братьев, и так мешало мне среди них. Странник и пришелец в этом мире – да, именно так я себя и чувствовал. Я с таким рвением взялся изучать все, что имело отношение к святому Франциску, что на некоторое время отец Джейми посчитал, будто призвание открылось моей душе. Но то было обезболивание, а не призвание. Крещеный быть воином, я окончательно простился с надеждой на отцовскую любовь и потому искал любви Господа – в замену тому, смертному отцу. *Тот же поистине любит врага, кто не о причиняемой себе несправедливости скорбит, но в любви к Богу сокрушается о прегрешении его души. И произрастает из его страданий любовь.* Из моих не произрастала. В меня это не вмещалось. Избавленный от общества средних братьев, я почти не злился на них, вспоминая, но любить даже не пытался пытаться – не выходило. А при воспоминании о Босуэлле, напротив, как бы приближался к чему-то огромному, темному, ежился и тут же отходил в сторону – внутри себя. Нет, праведной любви Франциска мне пока не постичь. Я бы тоже снял с себя плащ и отдал все деньги, как сын Петра Бернардоне, когда бы имел – чтобы вернуть себя Богу, чтобы оторвать себя от рода, раз род оторвал меня от себя. *Претерпевший же до конца спасется* – эти слова в итоге не обманули. Но где был тот мой край, когда мера страдания «до конца» пройдена и спасение близко? В юности мне казалось, что – в каждом дне. Меня жгло и терзало – болью отвергнутой любви, несправедливостью попранной чести. Как же молод я был. В «Светоче Лотиана» я впрямь оттаял, и мне впервые почудилось, что – вот здесь мне и место. Меня стала манить спокойная, размеренная жизнь монаха, жизнь, в которой ничего не нужно решать, где все решено за тебя...

Здесь меня и настигло письмо моей сестры Луны, жемчужины моей – Маргариты.

Лето клонилось к исходу. Я провел его не то, чтобы без побоев, но даже вовсе не вспоминая о них, о доме. Оказывается, мой рай затянулся почти на три месяца. Мардж писала, что

счастлива несказанно тому, что я, наконец, обрел себя, обрел без сопротивления и печали в том, в чем ей, к ее горю, отказано – в уединении и молитве. Что путь мой теперь станет ровен и прям вместо тернистого, что все они мной гордятся – моим разумом, моим смирением, и даже отец удостоил меня слова одобрения...

Он? Одобряет меня?!

В глазах потемнело, и земля ушла из-под ног. Никогда бы я не позволил себе заслужить его одобрение – после того, что между нами было, напротив – единственной моей целью стало служить для него источником желчи, неодобрения, разочарования... Ярость была в моем раю как отрезвляющий, целительный бальзам. Еще Мардж писала, что сговорена, что в первых числах сентября назначена свадьба, а имя жениха – Арчибальд Дуглас. Был только один Арчибальд Дуглас, за которого Босуэлл согласился бы выдать младшую дочь, и несколько мгновений я смотрел мимо письма, сминающегося под пальцами. Так вот какого зверя мой отец выпустил с Бьюта! Эта свадьба станет свадьбой декады, увенчав и замирив вражду за власть двух могучих, своевольных семей, ибо женихом-то был внук Великого графа Ангуса, Арчибальда «Кто-рискнет» Дугласа, бывшего канцлера королевства, которого господин граф самолично сожрал, а вот теперь посадил на цепь при себе через брак наследника. Моя сестра родит новое поколение Красных Дугласов. Ей уготована бурная жизнь, которой лишился я – ей, больше всего мечтавшей укрыться в мире фей и молитв.

Это надо было осмыслить. Я вернулся к телу письма. Мардж жалела, что не свидится со мной до свадьбы, ибо на другой же день, как оговорено, отправится с мужем в его владения, но на все воля Божья. Я поднял глаза от письма и прищурился на солнце в зените.

На все воля Божья, да.

Братья-минориты привыкли к моей покладистости, никто и не следил за мной, я встал и пошел. Просто вышел в открытые ворота монастыря, сказав брату-привратнику, что по делу послан настоятелем в город. И канул на улицах Эдинбурга.

На исходе лета город был темно-серый, красный, желтый, немного зеленый и голубой – там, где я осмеливался поднять глаза к небу. Странная свобода пьянила меня – свобода идти куда захочу и делать что пожелаю – свобода, которой я не видал давненько. Вероятно, ради одного только этого чувства свободы, пустоты я и сбежал раз от раза из любого монастыря. Мне не хотелось думать, что отец Джейми не примет меня обратно – ибо кто положил руку на плуг, а потом убрал, не самый надежный пахарь – но меня и самого поразило, с какой легкостью я пренебрег готовым будущим... чего ради? Новых побоев? Или все-таки Бог вел меня? Я возвращался в Хейлс, как если бы меня туда толкало незавершенное дело.

Мне предстоял день пути, ни денег, ни еды у меня не было. Но милостыню я всегда просил успешно, не запинаясь. Я с легкостью лгал, ужасаясь только краем сознания, но после крупнейшего греха – что обманул доверие отца Джейми – все остальные скверны наслаивались куда легче. В этом деле вообще главное – начать...

– Садись, монашек, тебе куда? – собирались тучи, я одолел девять десятых пути, телега фермера грохотала по пыльной дороге к Ист-Линтону.

Пошел дождь, я зарылся в сено, однако все равно вымок. Фермер честил судьбу за сырое сено, теперь не годное на продажу, и при первой возможности скинул меня на землю в Ист-Линтоне, как причину своих невзгод. Отсюда я уже отлично дошел пешком через поля. И первой, кого увидел за стенами замка, на берегу ручья Олд-хейлс, на холме, была Мардж – так же вымокшая под дождем, глазам не верящая, счастливая. Ее лицо в момент, когда она увидела меня, сияло, как средоточие непрочной земной красоты мира.

Я помню его, помню, да.

Шотландия, Ист-Лотиан, Хейлс, август 1510

Оказавшись здесь, я опять провалился в другой мир.

Три года назад я стоял ровно на тех же камнях, подколовший кабана, посвященный Адамом в охотничье братство, мечтающий о звоне рыцарских шпор – сын графа и лорда-адмирала Шотландии. Сейчас же стою в изорванной серой робе минорита, сын Божий, готовый принять монашеский обет. Неисповедимы пути Господни, что и говорить – у Него отменное чувство юмора.

Хейлс явно не первый день набухал людьми и подводами с провизией, окрест замка добротно и обстоятельно сколачивались шатры для гостей. Но я еще не пересек Олдхейлсберна, а уже понял: тут что-то не так. Дымились кухонные котлы, конечно, но и костры рейдеров вблизи ворот также. Если б я не знал, что тут готовятся к свадьбе, то решил бы, что Кентигерн Ваунтон собрал своих ребяток для забега в Нортумберленд. В те времена, когда граф Босуэлл гарантировал собою Вечный мир в Приграничье, как хранитель Трех марок королевства, у него немало было хлопот с бедовым ваунтонским кузеном, признававшим два только способа поразвлечься в лунную ночь – грабеж английских соседей да поджог их же домов. Вот и сейчас, помимо выпелов и штандартов Белой лошади, вздетых на копьях, вознесенных в небо, слышны были щелчки арбалетных крюков, тускло блистала сталь, вольница Хейлса проверяла оружие, начищала, устраняла самомалейшую неожиданность. Да, так добросовестно, как Хепберны готовились к брачному союзу с Дугласами, иные не готовятся и к войне. Интересно, когда Босуэлл еще не был Босуэллом, и вошел женихом в фамилию Дуглас, к дочери графа Мортонна, он тоже исповедовался перед свадьбой, всё понимая, рискуя не дожить до рассвета?

Прежде чем я добрался до ворот, заглядевшись на военный смотр, меня и самого приметили местные. Молоденький конюх Том Престон взирал на меня, грязного, в серой рясе, словно на привидение.

– Мастер Джон? Это вы? А ходили слухи... – и он осекся.

– Только слухи, Том, – бросил я, направляясь ко рву.

– Ты, ты, ты... – Мардж смеялась и плакала одновременно, забыв про своих фей, про жениха, про опасность моего появления здесь. Ее радость отогрела мне сердце. – Зачем? Как ты мог? Опять? Ох, Джон, я люблю тебя, но ты сумасшедший совершенно!

– Не надо было тогда писать мне. Ты ведь желала проститься?

– Если я попрошу, ты явишься из-под земли, чтобы проститься, так?

– Конечно. Дело в том, что я не хочу прощаться с тобой. А вот повидаться...

Она обнимала, и ей не было никакого дела, что платье ее пачкается, что я грязен, как черт. Любовь не беспокоится о платье. Обнявшись, мы вошли в ворота Хейлса, в те самые, в которые двое пройдут с трудом. Кованая решетка упала вниз, едва лишь в створе погасли наши шаги.

Внутри двора выяснилось, что всем этим рейдерским праздником окрест Хейлса и за ручьем, всем этим кипучим людом заправлял Адам. За то время, что письмо Мардж шло ко мне, а после я шел в Хейлс, кое-что переменилось. Господин граф и лорд-адмирал, конечно, придавил Бойдов за этот год, но Нагорье так просто не усмиришь, и вот он спешно отбыл к шурина, Алексу Гордону, третьему графу Хантли, и ожидался обратно не ранее, чем через неделю. Все это время – чутье *unblessed hand* не подвело меня – велено было оставаться наготове. Все это время я мог дышать свободно, не опасаясь рукоприкладства с его стороны. Средние, Уилл и Патрик, конечно, обретались здесь, а не у кузенов Хоумов, и Патрику лицо аж перекосило, когда увидел меня, но некоторые неприятности на жизненном пути неизбежны, одни розы встречать недостойно. А вот леди-мать промолчала, председательствуя семейным обедом. Только поцеловала в лоб, но не поручусь, что она не гордилась мной. Лис Рейнар с гобелена в холле приветствовал меня понимающей улыбкой.

Всю мою жизнь меня не покидает ощущение непрочности бытия, того, что я не здесь, не сейчас, не с теми людьми. От этого недуга спасает только молитва, но и она – не всегда. Так было и в тот вечер. Вкусная – не постная – и горячая еда, бадья теплой воды, чистая сорочка разморили меня. Я был немного не в себе с дороги, от усталости, от перемены места и новой перемены жизни. Я снова оказался в ранге младшего сына графа могучего и сильного, я снова – на несколько дней – был в миру... Прибежище сэра Адама Хепберна, мастера Босуэлла, находилось в Западной башне, под покоем родителей. В низенькой комнатке со сводчатым потолком он шагнул от стены к стене, от гобелена к гобелену, перекладывая вещи с места на место, пока пустой кошелек болтался у него на поясе, ожидая жатвы попутных мелочей. Адаму предстояло выехать в Ваутон нынче в сумерках, поднять еще людей. Он собирался вернуться к утру, сейчас же хмурился да поглядывал на вечернее небо.

– Ты как будто не рад меня видеть.

– Что? А, нет, пустое, о чем ты! Но не могу не думать об опрометчивости и о том, чем за нее воздастся. Ты же нарочно злишь его, сознайся. И это не самый разумный путь.

– И каковы твои предчувствия, старший?

– Ну, у тебя есть вероятность дожить до свадьбы... если не станешь дерзить господину графу впрямую.

Я смотрел на него словно бы сквозь стекло, улыбаясь, еще оттуда, сквозь прочитанные книги в монастыре. Кривизна такого стекла изменяла фигуру – или, напротив, проясняла ее?

– Дерзить? А, может быть, мне сразу перестать дышать? Заранее, от восторга перед его прибытием?

Адам вздохнул, мое остроумие его явно утомляло, он не видел причин для веселья:

– Да, черт возьми, я не рад, что ты здесь. В монастыре ты был в безопасности. И если бы я знал заранее твои планы... Если бы я мог, я б тебе приказал.

– Оставаться там? Так прикажи – по праву любви.

– Если ты уж так послушен отцу, у которого над тобой власть, то что же говорить о любви к брату...

– А ты, что же, думаешь, что любовь менее, чем власть?

– Уф, – Адам наконец улыбнулся, – ты уже не в монастыре, Джон. В миру, поверь, все давным-давно по-другому. Мне... не нравится то, что с ним происходит. Он становится твердым, как камень.

Что, только теперь? Но я промолчал, а Адам вновь нахмурился:

– Сперва ты, а теперь Марго... разменная монета для господина графа его дети.

– Но в этом ничего странного, так? – отвечал я не без иронии. – Ибо должно почитать родившего нас от чресл своих. Он ведь желает нам блага... обоим, не так ли?

– Так. Я почитаю. Я не понимаю, почему при этом нужно перестать быть человеком – когда ты породил себе подобного. Он так упоен властью, что не может выйти из колеса – а оно, того и гляди, раздавит его самого... а тут еще эта свадьба!

– Жених-то что? Человек приличный?

– Разве может быть Дуглас приличным человеком?

– Слыхала бы тебя наша Джоанна...

Мы оба хмыкнули. Как рассказал Адам, сестрица не стремилась навестить родной дом даже в форме письма, пару раз наезжал лорд Ситон, выясняя какие-то дела по приданому супруги. Но граф отвечал, что мельницу в Уинтоне отдаст своему старшему внуку, не иначе, как и было в брачном контракте, так что пусть постараются. Джордж Ситон был приятным человеком, и даже женитьба на моей сестре его не испортила.

Адам тряхнул изрядно закосматевшей черной головой, витая прядь волос выпала из копны на лоб. Яркий взгляд уперся в меня:

– Потерпи немного, Джон, потяни время. Будь помирней. Кто знает, как повернется жизнь...

– Когда она повернется, капорон к моей голове уже будет прибит гвоздями.

Горькие слова и верное предсказание.

– Но куда ведь ты еще здесь! Отыграем свадьбу, а там под шумок и останешься. Главное, будь попроще.

Проводив старшего в дорогу, я отправился в Восточную башню – привычным, столько раз хоженным путем. Ночевать с Уиллом и Патриком мне не хотелось, но нужно было забрать кое-что из вещей да теплый плащ, прежде чем улечься на лавке в холле. Камин долго еще не потухнет, озябну только перед рассветом, так что ж? Но первый же шаг в общую спальню дал мне понять, что зашел я сюда зря. Оба брата были у себя и совершенно не горели ко мне любовью.

– О, монашек пришел! Чего приперся-то? Не, ночевать с монашком с одной комнате – это совершенно не годится, как бы нам не замарать его святость, верно, Уилл?

Уилл осклабился. Я с неприятностью ощутил, что эти два лба еще прибавили в росте и весе за то время, что мы не виделись. И отступил обратно к двери, намереваясь удрать. Но

Патрик поднялся с лавки, заслонив выход, и тут я понял, что он пьян. Интересно, когда успел набраться мой драгоценный братец, за ужином-то вина не наливали, ограничивались элем. От мастера Хейлса несло яркой молодой злобной силой, как от кобеля, рвущегося до оленьей крови.

– Хотя монах он у нас какой-то неправильный, чуть недоглядишь – уже и дал стрекача от святынь. А когда монах бежит из монастыря, что ему первым делом нужно? Правильно, баба! У меня как раз есть на примете подходящая... эй, держи его, Уилл!

У мастера Хейлса всю жизнь была неисцелимая потребность причинять добро – сообразно его разумению о добре. А у мастера Уилла – качественный удар левой. Я пропустил замах и поплатился за это.

Четырнадцатый год жизни, внезапно и сильно выросшее, удлинившееся тело, нескладные конечности, слепая усталость, долгое время скудная пища в монастыре, сейчас одурь от сытости и тепла ужина в холле, расслабленность от встречи с Адамом – союзники у меня были дурные. Собственно, я решил-то, что Патрик волочет меня выбросить ночевать во двор, а мне того и надо было, вернусь в холл, я же пропустил мимо ушей его слова. Но эти двое саданули старой дверью из холла в башню Горлэя, в ту часть, где ночевали домовые слуги, в темноте сентябрьского вечера швырнув меня в клетушку, на низкую кровать, на соломенный, пахнущий травяной пылью тюфяк – и еще на какое-то существо. Существо подскочило выбежать вон, завизжало и получило оплеуху от мастера Хейлса, затем раздался треск разрываемого корсажа платья, факел в руке мастера Уилла высветил мое ошеломленное лицо, обнаженную девичью грудь, растрепанные волосы жертвы, заспанные глаза.

Джин, молоденькая молочница-хромоножка. Когда она переходила двор, подоткнув подол, чтоб не замарать, ее шаткая походка наводила на мысль о подбитой птице. Сколько ей лет? Да был ли вообще у нее мужчина?

Патрик Хепберн взял девчонку за горло одной рукой, другой неторопливо ощупывал задницу:

– Хороша! Значит, так, сучка, обслужи-ка моего меньшого братца, ему надо. Да в рот возьми сперва, а то еще и не встанет у нашего мальчика... И хоть один писк, хоть что не так, как он захочет – и мы с Уиллом сами тебя порвем.

Джин побледнела.

– Или ты, возможно, уже сейчас хочешь познакомиться со мной поближе? – промурлыкал он, надвигаясь на нее, отступающую к стене. Та в ужасе замотала головой – Патрик Хепберн по слухам к девицам мягок не бывал. Затем мастер Хейлс повернулся ко мне, ухмыляясь:

– Запомни, малыш, Хепберны никогда не становятся мужчинами в борделе. Не для того у нас полный двор девок в соку. Тебе помочь или только показать?

Со скрежетом лязгнул засов снаружи, с хохотом оба Хепберна скатились на лестничный пролет вниз. Если у меня будет сын, видит Бог, я никогда не подвергну его такому унижению – и спасибо за этот урок моим проклятым братьям. Лучина, воткнутая в плоску на стене, догорала.

Что такое плотский искус, я уже знал. Точней, мне привелось быть его причиной. Я никогда не считал себя привлекательным, однако обычно мне хватало живости, чтобы привлечь. Было то как раз у тринитариев Данбара, где брат-келарь пожелал, чтоб я читал ему вечером и ночевал в одной келье с ним, остерегавшимся ночных страхов. Среди ночи я проснулся от того, что пальцы шарят по моему телу, заорал, что было мочи, бухнулся прямо с кровати на колени и принялся истово молиться. Трясся, как параличный, взывая к Богородице, с края губ капала бешеная слюна... О, притворство, хвалу пою тебе, как величайшему благу Господню – этой забаве дьявола. Только притворство сохранило мне жизнь в стенах родного дома, рассудок и честь – в стенах монастыря. От тринитариев я утек наиболее стремительно. Здесь же, сейчас – меня сковал паралич сладости желания и невозможности его утолить. Желание рядом со мной, только протяни руку. Вот твоя прекрасная дама, Джон Хепберн, вот образ твоей земной любви, и весь он – насилие и низость. Можно убежать из монастыря, но от себя-то не убежишь.

– Ты хочешь этого?

– Уж лучше вы.

Она думала не обо мне, но об угрозе, произнесенной мастером Хейлсом, что никак не настраивало меня на нужный лад. Проще говоря, я был в смятении. Это была та грань мужественности, перейти которую, казалось мне, я не готов, и я не буду готов никогда. И, вместе с тем, если граф завтра вышвырнет меня обратно к миноритам, пожизненно – навеки лишусь возможности познать эту тайну. У тайны были серые глаза и веснушки на переносице и на щеках, я смотрел в лицо, потому что мне было стыдно смотреть на грудь. Слышно было, как где-то за стенкой возится старый Саймон, повар, приготавливаясь ко сну. От его оханья проснулись и встрепенились голуби и в верхнем этаже, и внизу, и вскоре вся старая башня была полна шелковым шепотом голубиных крыл, прежде чем они успокоились, и шелест с воркованием стихли...

– Вы можете не делать этого, коли не хотите, мастер Джон, – произнесла она, пряча глаза.

– Я скажу им, что все было...

– С них станется проверить, – отвечал я.

Мы сидели бок о бок на топчане с четверть часа, холодея, боясь пошевелиться, прежде чем я обнял ее. После я не понимал, как жил без этого.

Утро застало нас вдвоем – вместе с поворотом ключа в двери. Утром они выдернули простыню с ложа и с песнями понесли на конюшню, где Адам уже чистил своего гнедого:

– Смотри-ка, брат, птенчик пустил кровь из своего корешка, объезжая хромую молочницу!

Не говоря ни слова, мастер Босуэлл развернулся и с правой руки вломил Патрику так, что мастер Хейлс пролетел пять футов и остановился в парении, только зацепившись головой за притолоку.

– Ну, погоди у меня, гаденыш... – адресовался он мне, приподнявшись на соломе, рукавом утирая расквашенный нос.

– Увижу, что бьешь Джона, – сказал ему Адам свысока, – утоплю в Тайне. Отцу скажу, что сам свалился.

Старший иногда был такой Хепберн, подлинней не бывает, что просто мороз по коже. Как бы то ни было, а возразить ему или ударить меня Патрик тогда не решился. Убрались бочком оба, и он, с восхитительно разбитой рожей, и промолчавший Уилл. Адам же продолжил невозмутимо чистить гнедого. Его размеренные движения выглядели как часть гармонии мира, часть совершенства Господня.

– А что, ты правда утопил бы Патрика в Тайне? – не утерпел я.

– Ну, – он долго посмотрел на меня, прищурившись, синие глаза смеялись. – Я бы его точно туда окунул, кровь Христова... иногда нашему Патрику не вредно напоминать, кто его будущий граф и господин. Но пришлось бы вынуть, я не желаю губить свою душу ради такого болвана, как мой полусредний брат.

Он всегда так и называл тех двоих – полусредние. Младшим для него был только я.

– Они – жеребята, Джон. На скотину не обижаются. Но тебе надо уметь постоять за себя, не всегда ж я буду рядом.

Почти два года, проведенные в побегах и новых водворениях в монастырь, одно спокойное лето в «Светоче Лотиана» – когда бы он хотел, чтоб я обрел сноровку? Я и вообще разучился бить людей рядом с отцом Джейми. Но моя родня – такие люди, что всегда предоставят возможность вспомнить.

Пиброх «Хепберны идут» взревел так, что заломило уши. С лязгом ползла вверх кованая решетка, на стрелковой галерее над воротами орала стражники, приветствуя и ликуя – хозяин возвращался домой. Ликовали они еще в полной мере и потому, что это приближался сам граф, а не родные и гости жениха, скажем уж прямо. Рейдеры за стенами замка при своих кострах могли коротко передохнуть, теперь-то вернулся тот, кто за все в ответе.

Мы выстроились, как встарь, на ступенях лестницы в холл. Я чувствовал себя до чертиков чужим – нет, не среди братьев, а – внезапно – в мирском наряде. Высокий воротник дублета душил, рукава были коротки – никто не позаботился о новом платье, пока меня не было, да и зачем? Ведь предполагалась совсем иная стезя. Предполагалась она для меня и тем, кто сейчас во главе отряда въезжал во двор, кто осадил коня, пригляделся...

Волынки ревели по-прежнему, леди-мать, готов поклясться, сдерживала улыбку, рейдеры орала здравицы хозяину. «Иду навстречу!» из сотни глоток гуляло по двору.

Граф смотрел прямо на меня:

– Ты.

Упала очень долгая пауза. Выражение лица Адама было непередаваемо.

– Ты снова здесь?

– Да, милорд.

Босуэлл взглянул на леди-мать, на наследника, потом на меня снова. И всё молчал.

– Джон, я тебя умоляю, Джон, только не ввязывайся, не ввязывайся, не ввязывайся!

Губы Маргарет шевелились едва-едва, ее мелко трясло, но видел это только я, стоявший рядом. Если бы осмелилась перед отцом – она бы и обняла. Чтоб не навлечь на нее его гнев, я чуть подался вперед, отодвинувшись, спустился на несколько ступеней.

Босуэлл все еще пребывал в седле, в какой-то момент, когда он переложил поводья в руке, мне показалось, что он сейчас двинет вороного прямо на меня, затоптать.

– Ты все-таки снова здесь, Джон?

– О да, милорд.

Спешился, бросил поводья подбежавшему Тому Престону, молча прошел мимо нас в холл.

И обед в тот день прошел и завершился в том же молчании. Гораздо больше, чем с семьей, граф беседовал со старым Бэлфуром, управляющим, с каждую минуту подбегавшими к нему капитанами рейдеров, с начальником стражи. Благословение, выданное трапезе отцом Катбертом, граф выслушал с неприкрытым раздражением и без обиняков велел старику убираться в Крайтон завтра же. Завтра, мол, долгополых и без него набежит отменно. Нас он словно не замечал вовсе, а я еще больше утвердился в мысли, что предстоящую свадьбу Босуэлл воспринимает как вынужденный военный союз с противником коварным и лживым, а потому готовится. Готовится тщательно и серьезно, ни единой мелочи не упуская. В замке проверено было все, включая новые пушки. Патрик зубоскалил, что такова, видать, придворная мода – встречать Дугласов по-настоящему величественно, артиллерией. У меня же застревал в горле каждый кусок, решения о моей судьбе-то не прозвучало, я сидел как на углях... Тут Босуэлл встал из-за стола, скомкал салфетку, лежавшую на коленях, уронил в руки подбежавшему с тазиком для омовения рук Бобу Бэлфуру. Его пронизывающий взгляд слетел на нижний стол, вонзился в нас, четверых:

– Адам, Патрик. Вы двое отправляетесь в Крайтон, немедленно. До того, как великие и могучие господа Дугласы появятся здесь. Крейгс с ребятами ждет вас за Олдхейлсберном. Вы двое, Уильям и... Джон, вы остаетесь.

Ох, как солоно, как круто заваривается! Господин граф даже отсылает двоих старших сыновей в безопасность Крайтона, на случай непредвиденного разгула свадьбы! Адам и Патрик переглянулись, поднялись с лавок, поклонились... Безумная надежда зародилась во мне. Стало быть, если я и не любим, то ценен. Он желает сохранить меня среди грядущей свары, он не отсылает прочь в монастырь тут же! И надежда мигом подтвердилась.

– Леди, – молвил граф супруге отрывисто, – вы бы приглядели за вашим сокровищем, чтоб он не позорил меня перед семьей жениха... оденьте же его во что-либо пристойное, по размеру!

Патрик злился до черной желчи, когда на меня наскоро подогнали один из его прошлогодних дублетов.

Шотландия, Ист-Лотиан, Хейлс, сентябрь 1510

Никогда в жизни я не видел подобной свадьбы и, надеюсь, более не увижу.

Босуэлл принимал Дугласов поистине с королевским размахом. Главным отличием свадьбы Марго от свадьбы Джоанны было как раз говорящее отсутствие короля. Не пригласили его или он отказался, будучи в скорби по очередному мертворожденному ребенку, я мог только догадываться. Да и зачем на этом брачевании король Шотландии – когда короли долин сочтутся с королями холмов, действительная власть – с действующей?

Господин граф Босуэлл, могучий и сильный, был чудовищен в своем великолепии. Он не казался красив – я повторяю это всякий раз с оттенком изумления, потому что много лет потребовалось мне на то, чтобы смириться, что в этом человеке зародышем таилась какая-то часть меня – но он занимал собой место. И делал это столь внушительно и серьезно, что немногие осмелились бы занять это самое место поодаль от него, даже не вблизи. Я физически не мог выносить исходящий от него запах власти. Он не праздновал – чествовал, заявлял, трубил: вот мы, мы таковы, мы никому не спустим, ибо всегда приходим на встречу. Но за этой заявкой одной только численностью бойцов было, тем не менее, прописано очевидное – не столько он уверен на деле, сколько настороже. Джорджа Хепберна, епископа Островов и казначея короля, задержали в Эдинбурге дела неотложного свойства. Крейгс вместе с Адамом отправился в Крайтон. Мастер Хейлс, любимчик графа, все же умудрился оспорить приказ отца и остался в Хейлсе. Не могу сказать, чтобы это доставило мне удовольствие – без него-то Уилл обычно терял кураж делать пакости, а вдвоем они неодолимы. Я же думал: случись что,

Патрика начнут, вслед за отцом, резать первого. Дальновидность никогда не была существенным качеством моего первого полусреднего брата... Иными словами, господин граф Босуэлл убрал большую часть родни с этой странной свадьбы, расставив их так, чтоб при случае родичи смогли быстро прийти на подмогу – что из столицы, что из ближних владений фамилии. И подтянул под предлогом праздника в Хейлс троюродных кузенов Хоумов во главе с их молодым лордом Алексом, те явно радовались приглашению: жадные, хамоватые, гарцующие и вне седла – кому бы вломить... Нет смысла нападать на Босуэлла, если нет возможности вырезать Хепбернов под корень, кустом, если сразу понятно, что тут же придется иметь дело с этими чокнутыми – а после и с разъяренным наследником, с Крейгсом, с епископом Островов. Вот об этом-то явно и думали, въезжая во двор Хейлса, многоумные родичи жениха. И об этом совсем не думала моя Маргарита, продаваемая понапрасну.

Узорчатый сапфировый шелк, жесткий корсаж, плотностью больше похожий на кирасу, стюартовские жемчуга моей матери, подаренные ею Мардж к свадьбе, расплетенные, распущенные по плечам в знак чистоты и девственности рыжеватые пряди волос – и полные отчаяния глаза. Я не узнавал свою сестру, обычно-то она была средоточием жизни, тепла.

– Что с тобой? Хотя что я спрашиваю – все же невесты волнуются перед свадьбой...

Тут я с неизбежностью подумал о брачной ночи, и кровь жаром кинулась мне в лицо, но Мардж не заметила, обнимая меня – не очень-то это у нее получалось в негнущихся от дорогой вышивки рукавах платья.

– Я не волнуюсь. Мне тоскливо. Это совсем иное, Джон. Ладно, дай руку, води меня вниз.

– Я?

– Ну, не хочешь же ты, чтоб это сделали Патрик или Уилл?

– Да ведь мне не велели тебя вести.

– А разве надо всегда делать только то, что велят? Если будущее неизбежно, что толку в промедлении!

Храбрая моя Мардж. А ведь верно. Рука об руку мы спустились вниз, в холл, из ее покоев в Восточной башне, куда она вернется только на одну ночь. Там я передал ее руку жениху, Арчибальду Дугласу, внуку пятого графа Ангуса. Высокий, темного огонька красавчик. Пустое место, если поглядеть ближе.

Соединить пару прибыл дядя жениха, Гэвин Дуглас, настоятель Сент-Джайлса, ради такого случая покинувший Эдинбург – тот самый человек, который выговорил у Папы право венчать даже и пары, находящиеся в близком кровном родстве, но не более десяти пар за четыре года, дабы способствовать миру в Шотландии. Хоть своего священника на бракосочетание поставил старый стервятник «Кто-Рискнет», хоть это выговорил у Босуэлла. Гэвин, бывший священник Престонкирк и прихода Ист-Линтон, магистр искусств Сорбонны, третий сын своего отчаянного отца, был человеком острого ума и злоехидного языка, как оно и полагается величайшему поэту своего времени. О его переводе «Энеиды» Вергилия, которым он теперь занимался, нимало не входя в политические интересы семьи, блуждали шепоты восторга... я был заморожен тем, как он смотрит, говорит и двигается. Если Джордж Хепберн был мощью Церкви, отец Джейми – любовью, то Гэвин Дуглас – Ее несомненным князем. Чистое выбритое лицо, узнаваемая дугласова порода в чертах, темные пронзительные глаза, взор ястреба.

– Ты, мальчик... подойди.

– Это мой младший, – Босуэлл шагнул передо мной, как бы оттесняя меня в небытие, в тень.

– Тот самый? – от взгляда его искрило. – Наслышан... Так, где там мой недалекий, виноват – близкий, но любезный племянник? И не изволите ли начинать церемонию, господа графы?

Мерный рокот латыни, как журчание текущей воды. Почему, думал я, не в Танталлоне? Почему маленькая наша часовенка, даже не Престонкирк, не церковь Девы Марии в Хаддингтоне? О, потому, в первую очередь, что узкий зев Танталлона, заглотив добычу, обратно может не выпустить. Поэтому вынудивший Ангуса к свадьбе и заманил жертву к себе, чтоб не рисковать. В часовне Хейлса, тесной для такого числа людей, я видел их всех – всех тех, кто определил судьбу страны на ближайшие двадцать лет. Сама власть в Шотландии – во плоти – стояла передо мной, возле меня, еще не зная своей участи, и самым горделивым из них был, конечно же, господин первый граф Босуэлл, с непокрытой седеющей головой, с профилем волка – и в лучшем придворном костюме черного бархата, расшитого серебром, в плаще, заказанном под королевскую свадьбу и посольство в Англию: синий, серый, голубой – грозные цвета, тонкая просовка желтого, алый шелк подклада. Но смотрел я не на плащ, не на его хозяина, хотя и не было тогда более явно воздвигнутого судьбой знака тщеты, напрасной гордыни, чем он в тот миг. Меня привлекали гости.

Гости тоже прибыли выборочно – знали, черти, к кому едут. Наследником своим, Джорджем, мастером Ангусом, «Кто-рискнет» именно что не рискнул. Джордж, отец жениха нашей Мардж, остался в Танталлоне вместе с братом, Уильямом Гленберви, зато тут был хорошо известный Арчибальд Килспинди. Если бы Хепберны и захотели завалить Дугласов – у тех роду тоже осталось бы достаточно мужчин для кровной мести, нынче в часовне Хейлса противники сошлись равные. Я глазел на коротышку «Кто-рискнет» – рассказы о нем преувеличивали рост, вес, внушительность, но не отражали истинного пламени. А годы в заключении на Бьюте ведь не погасили в нем ярость сердца! Смирился для виду, но смирения не прибавил: он и Босуэлл – вот удивительное зрелище спевшихся стервятника и волка, кто кому быстрее разорвет горло, кто выключет глаз? Право же, можно делать ставки. «Кто-рискнет» очень, очень сильно проиграл нам в милости короля, за что ему пришлось заплатить главенством на границе, долиной Лиддесдейл и самим Хермитейджем... Забыл ли, простил? Ничего подобного. Но объединил кровь, выбрав нашу женщину в свой род. Вот тот, кто засеет поле – стоит у алтаря, держа ее безжизненную руку в своей.

О крови, о роде... о любви и согласии не шло на ум, несмотря на мягкую речь, на вдохновенные, округлые речи преосвященного Гэвина. Женишок был на четверть Бойд. А половина Бойдов стояла прямо перед нами в лице преосвященного Гэвина и младшего сына «Кто-рискнет», Арчибальда. Не могу не сказать, что господин граф очень грамотно давливал строптивую фамилию, привязав их еще и через кровь. Где не достанет Босуэлл, впишется Ангус – и тем конец, даже если и попытаются вновь поднять голову. Я озирался вокруг и по сторонам, от густоты запаха ладана хотелось чихать, приходилось тереть переносицу, притворяясь растроганным. Казалось, мы на военном сборе, не на свадьбе, кругом стояли сплошь крепкие бойцы Ист-Лотиана. Надежные тылы Босуэлла: ваутонские Хепберны, Бинстон и Уитсом. Развязные кузены Хоумы – все три брата, до самого юного, непрестанно шушукующиеся с сестрами жениха. Барон Басс. Лорд Бортсвик. Хеи из Таллы. Старый Хей Йестер с сыновьями Джоном, Уильямом и Ланцелотом. А последним – и неожиданным – прибыл Неясыть Хаулетт, совершенно один, не считая двух чахлах пажей – крепкий, как древесный корень, и такой же черный от старости и крутого нрава.

«В горе и в радости, в богатстве и в бедности... покуда смерть...». Голос Гэвина Дугласа стих, и в повисшем молчании, когда его племянник Арчибальд закреплял свои права поцелуем, стало слышно, как за моей спиной Хаулетт прохрипел полуглухому Йестеру:

– Они ненадолго вместе.

Леди-мать стояла с глазами, полными слез. Матерям полагается плакать на свадьбах. Дед жениха благословил пару, затем подошел и отец невесты:

– Принеси мне внуков, дитя. Да поживей. Мне нужен от тебя мальчик. А после...

Он не договорил. Но на месте этого парня из Дугласов я бы крепко задумался.

Брачный пир шумел, выливаясь, выхлестываясь вон – от кухонь сновали взад-вперед слуги, уставляя блюдами также и нижние столы на дворе, для простых, для кинсменов. Граф Босуэлл выдает замуж дочь в сильнейшую фамилию королевства и не станет скупиться. Сама пара, родители невесты, родичи жениха занимали верхний стол в холле, сыновья Босуэлла разместились за нижним там же. Музыканты, свистящие флейтой, бренчащие лютней на галерее, не могли перебить скабрзные вопли рейдеров, доносящиеся со двора. Знамена Хепбернов шевелились под потолком в потоках теплого воздуха от раскаленного камина.

– О чем задумались, молодой человек? Быть младшим сыном Босуэлла не слишком весело?

Я промолчал. Становиться посмешищем для Дугласов не было никакого желания. Да и младшим сыном у Дугласов был вовсе не острословец Гэвин, клюнувший меня в макушку своим вопросом, а хладнокровный, словно гадюка, вдовец Арчибальд Килспинди. На того вообще глянешь – мороз по коже. И отнюдь не его Ангус выделил в жертву церкви. Что же до красавчика Гэвина – ему тонзура очевидно не жгла. Я же теперь не был ни в чем уверен, кроме того, что это очень странная свадьба – свадьба, на которой каждая сторона как будто бы ждет призыва к бойне. Возможно, потому Босуэлл и не велел тут быть Джоанне, уже в другой раз беременной, один лишь Джордж Ситон отдавал дань семейным узам. Но пили, несмотря на хмарь угрозы, так, что двое из Хоумов и один Хей уже падали с ног к первому часу пира. Я же думал о Мардж. Она была мне видна отчетливо, сегодня вместе с мужем занимавшая почетное место на помосте, такая бледная и хрупкая в непривычно богатом платье, такая отстраненная... я не мог отделаться от мысли, что не много-то разницы в ее судьбе с участью хромой молочницы Джин. Произволом отдана чужому самцу и нынче же вечером обречена во славу семьи вытерпеть болезненное вторжение в самое интимное, уязвимое. А после и ее простыни выставят на всеобщее обозрение. Я мог только надеяться, что этот молодчик будет добр к ней. У Арчибальда Дугласа фамильное, как вырубленное топором лицо с тяжелой челюстью, скептической складкой губ, темные глаза под нависшими веками, однако он по-своему красив, я бы сказал даже – притягателен... но, насколько я мог предполагать, Марго до обморока пугала именно нимало не прикрытая лоском воспитания мужская сила. Я смотрел и смотрел, как его холеные руки, длинные сильные пальцы разбирали на блюде заячье жаркое на мякоть для молодой жены. В холле уже волынки заглушали лютню и флейты, хмельные голоса требовали танцев. За нашим столом танцевать жаждали Элисон, Элизабет и Дженет, сестры жениха, откровенно разочарованные отсутствием мастера Босуэлла... не потому ли отец и ото-слал Адама, чтоб не вставал вопрос о браке наследника с одной из них? Развязные девицы, оголенные более, чем пристало их возрасту, приличию и незамужнему состоянию, рассеивали улыбки не только на кузенов Хоумов, но и на моих полусредних, также нетрезвых и всегда готовых красоваться за мой счет. Начал хвастовство Алекс Хоум, благо здравицы жениху и способствовали обычным для свадьбы непристойностям, а там пристроился и Патрик, сперва подробно рассказавший хихикавшим красоткам о собственной одаренности:

– А у тебя и впрямь член не больше, чем у воробья, Джонни. Твоя девка ничуть не помяг-чела – ты ее впрямь раскупорил? Или не в ту дырку зашел с непривычки?

Они в самом деле проверили.

Шерсть у меня на загривке встала дыбом.

Грохнули все, кто был окрест – в пределах двух десятков знакомых рож за столом. И кузены Хоумы, сучьи дети, тоже. Патрик наслаждался выражением моего лица – тогда на нем еще можно было прочесть, что думаю, как я ни старался скрыть. Не говоря ни слова, я запустил в голову мастера Хейлса миской с фаршированным рубцом, но он увернулся и только заржал:

– Ну, будет тебе! Ведь есть же еще руки и рот, чтоб сделать бабе приятное, хотя этого, – он похлопал себя по гульфику, – тебе, конечно, уже не нарастить, бедняжке! Хотя и зачем член монаху, кроме как ссать, верно, Уилли?

Мужская неполноценность и монашество – у них было сразу два козыря, годных при иерархических играх в мире мужчин. Провожаемый хохотом, я поднялся из-за стола, пошел к дверям, но, минуя братьев, ногой вышиб подпорку лавки – кому, как не мне, было знать, что крайняя ножка у нее с трещиной... оба с проклятиями повалились мордами в стол, аж челюсти брякнули о столешницу, а оттуда – в соломенную подстилку пола. Не скажу, что это было достойным ответом, но немного поправило настроение, да.

Джинни поджидала меня, прячась за шпалерами при входе в холл, и ухватила за руку, когда я проходил мимо. Меньше всего хотелось мне сейчас видеть ее, тем более, говорить, но очень уж у нее был жалкий вид. Мне не нужны были подробности, но ей хотелось оправдаться, хотя я не спрашивал оправданий. Братья нагибали каждую вилланку, какую видели во дворе, а ею брезговали только за хромоту, и теперь она им понадобилась лишь затем, чтоб еще больней уязвить меня.

– Я не хотела, мастер Джон, вот истинный крест! Мастер Уильям держал меня, а мастер Хейлс... он...

Она прятала глаза.

– Я знаю, что сделал Патрик.

– Но я скажу вам, мастер Джон, он напрасно бахвалится своим размером – он только сделал мне больно, а у вас ничуть не меньше, но вы дали мне счастье...

Ей было четырнадцать, но в том возрасте, как всякая простолюдинка, она уже обладала животным чутьем зрелой женщины. Даже если солгала – благослови ее Бог, мне тогда было нужно услышать эти слова.

– Не сердитесь на меня, – добавила она просительно. – Мастер Джон... вы были со мной так ласковы.

Если уж те мои неумелые попытки она считала лаской, что им приходится терпеть от своих скотов?

– Я не сержусь, Джин.

– Вы придете снова?

Она просила так, словно я мог отказать ей. Я не мог – не мог отказать не столько ей, сколько своей похоти, которой она оказалась единственным вместилищем. В борделе я очутился чуть позже – после женитьбы Адама. Печать была снята, яд хлынул в кровь. Брачную ночь моей сестры я провел в глубочайшем чаду греха.

Наутро Маргарет все еще была бледна, ее подсаживали в седло под понятные шуточки. Леди-мать стояла на лестнице в холл, неотрывно глядя на дочь. Мужчины Дугласы, собирающиеся восвояси, тут же окружили Мардж плотным кольцом, давая понять, что отныне ее нет больше ни для кого, кроме них, даже для братьев – она теперь их собственность, она теперь Дуглас. Я успел поднырнуть под руку Килспинди, шмыгнуть меж его конем и ее, уцепиться за стремя:

– Как ты?

– Милостью Божьей. Благослови тебя Бог, Джон.

Но ни одного меча, ни единой даги по итогу свадьбы не выскользнуло из ножен – разошлись чисто, словно бы затаив дыхание. Так неужели действительно вечный мир? Рейдеры с обеих сторон ходили пьяные от разлитого в воздухе напряжения, вяло задирая друг друга. Граф уже отослал МакГиллана в Крайтон, вернуть наследника домой.

Когда конный поезд протиснулся в ворота Хейлса, зазмеился за ров и ручей, я взбежал на стрелковую галерею близ надвратной башни, долго смотрел вдаль. Мне казалось, у меня вынули часть нутра. Ладно, сказал я себе, в конце концов, Танталлон менее чем в полудне пути, мы вскоре увидимся. Гости постепенно поднимались, трезвели, тоже убирались по домам. За какой корыстью приезжал Хаулетт, мне неизвестно, но расстались они с Босуэллом не в дружбе. То был последний визит Неясыти – и единственный на моей памяти – умер старый ведьмак тем же годом.

В окне Восточной башни колыхалась простынь с кровавым пятном.

Дублет Патрика жег мне плечи. Казалось неестественным ходить в чужой одежде, словно в чужой коже, хотя прежде я не был замечен в подобной чувствительности. Видно, «Светоч Лотиана» переменял во мне что-то очень глубоко, еле досягаемо для внешнего глаза, да и для моего собственного тоже. Гости разъехались, двор Хейлса и холл опустели, рейдеры снаружи замка загасили костры и собрали палатки – господин граф не планировал оставаться надолго, имея срочные дела в столице. Адама все не было – видать, задержались к Крайтоне. Патрик с ухмылочкой на роже скатился по винтовой лестнице Западной башни во двор, похлопал меня по плечу, указывая на проем окна – там на мгновение мелькнула фигура хозяина. Когда я поднялся наверх, сердце во мне ходило ходуном, словно я проглотил птицу, и теперь та билась в груди. Я боялся верить себе – в дублете Патрика и с нелепой надеждой на то, что мне дана возможность остаться, возможность быть признанным... Ведь если б хотел отторгнуть – ему б никакая свадьба не помешала.

Он сидел за столом и писал. На столе в спальне стоял кувшин с вином, кубок, на блюде – заветрившиеся ломти хлеба и сыра. Я так ясно помню каждую мелочь, словно они впечатались мне в память проклятием: и блеск столового серебра, и пузыри воздуха в стекле кувшина, и темную рельефную дубовую панель на стене – с гербом. Я стоял ровно с противоположной стороны комнаты, сравнительно с той, где находился, когда подслушал тот их разговор с матерью. Уилл сидел на низкой лавке у огня, лицо его не выражало ровным счетом ничего. Жестом он затребовал от Уилла плеснуть вина, глотнул, поставил росчерк в листе, опрокинул на лист песочницу... поднял голову и тут уперся в меня взглядом – с темным огоньком, от вина ли, от вины, от облегчения, что напряжение противостояния с Ангусом схлынуло. Я выдержал немигающий взгляд, и тут он произнес:

– Ты! Завтра с утра отправляешься к Серым братьям... и остерегись сбежать еще раз. Сестер и их свадеб не напасешься – тебя учить.

Так он сохранил не меня, но часть семени во мне, оброненную случайно! Теперь же, когда старшие сыновья живы, когда миновала угроза, от меня можно избавиться.

– Ну? Что стоишь? Или монахи тебя разучили кланяться отцу, прежде чем проститься и выйти вон?

Вот и всё. Иллюзий у меня не осталось.

Что такое, когда тебе незримо касаются пылающим углем уст – теперь я знаю.

– Вы мне не отец. В Писании истина: *и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах*. Я и не называю. Я не ваш сын, но сын Божий. Как всякое брошенное дитя.

– Тебе не кажется, что ты несколько запоздал, сын Божий? Примерно на пятнадцать веков? И зачем же ты вернулся сюда, в Хейлс, на этот раз, коли так?

– Я пришел сказать вам об этом. Что отрекаюсь от вашего рода, имени – и звериной жестокости к слабым. Что Бог примет меня с любовью, которой вам не дано. А вы есть слуга дьявола и извращение природы человека.

– Ты никогда не был великого ума, но окончательно трехнулся у миноритов, как я погляжу. Но больше ты не выставишь меня на посмешище... Сбежишь еще раз – не стану учить, убью.

– Так убейте сразу.

– Хорошая мысль, мне нравится...

Лицо Уилла – в панике и как отражение в зеркале моей собственной боли – последнее, что я помню. Он держал меня.

Почему?

Почему Ты не дал мне умереть?

Эта первая мысль, полная нестерпимой горечи разочарования, на миг вернула сознание, ощущение того, что я, к сожалению, жив. Голоса я слышал в бреду, потому ни за что не ручаюсь. Все плыло, как в тумане – в кровавом тумане боли. На сей раз у меня оказалась проломлена голова, за жизнь никто не давал и стертого пенни, как мне передали потом.

– Я этого так не оставлю, – голос матери.

– Конечно, миледи, ни в коем случае этого нельзя так оставлять, – старая ведьма Элспет МакГиллан. – Что вы хотите сделать?

– О, мало ли средств...

Окончательно пришел в себя я уже в лазарете – под присмотром отца Льва в лазарете «Светоча Лотиана», куда и был доставлен, не помню как. Я лежал, лежал и лежал долгие дни, пока заживала перебинтованная голова, молчал, не говорил ни с кем, даже с отцом Джейми, который бывал у меня едва ли не каждый день. Мне незачем было жить, но упорный дух, которым снабдил меня насмешливый Господь, но молодое тело, желавшее мирского существования, вытащили меня с той стороны Луны, где я плавал в бреду, в ледяном тумане беспамятства. Я снова начал жить, поднятый к жизни руками древнего лекаря францисканцев, рецептами лазарета, травами тамошнего огорода, молитвами настоятеля. Самым удивительным для меня было не то, что я выжил – об этом-то я как раз горько жалел, но то, что именно мастер Хейлс кинулся тем вечером к леди-матери, когда до него дошло, что настал мой последний час.

Шотландия, Мидлотлан, Эдинбург, «Светоч Лотиана», осень 1510

Но долгие часы, долгие дни потребовались мне затем не только чтобы научиться заново сидеть, стоять на ногах, ходить... но владеть речью и памятью – а это было трудно по первоначалу. Молодая человеческая природа заживает любые раны, если ей не мешать. Но не человеческая душа. На той раны кровоточат беспощадно долго, и утешения ей не сыщется, кроме как молитвой и временем. Время шло для меня. Молился отец Джейми. Братья в лазарете болтались, что он таки навестил своего коронованного кузена, когда я уже пятый день сторал в лихорадке. Король же отвечал ему, что коли хочет полностью вывести меня из-под власти отца земного, так пусть поспешит передать Отцу небесному. Правду сказать, я и сам в те дни считал это лучшим выходом. Но Святой Франциск ужаснулся бы на небесах и не принял бы меня в число своих братьев на земле, услышав, какие именно слова я обращаю к врагам своим... и непосредственно – человеку, который был повинен в моих ранах, в моем заточении. Что во мне тогда горело больней? Те самые раны или мысль, что я прошел все круги ада, и все-таки обманулся, все-таки был отвергнут?

– Ты не христианин, Джон, ты язычник, тебе больше пристало бы приносить с друидами кровавые жертвы, распиная несчастных на деревьях священной роши, – на первый раз сказал мне отец Джейми, пораженный моим красноречием, когда я все же заговорил.

– Я христианин, отче, крещенный как *unblessed hand*. Ничего не могу поделать с собой, со своей природой.

– Вот я и говорю – язычник, – и он вздохнул. – Как в воду кануло все, чему я учил тебя. Вас там что, в Хейлсе, поят кровью?

– И вскармливают мясом убитых врагов. Особенно на свадьбах. Вы не смотрите, отче, мой старший брат совсем не таков. Да и два полусредних – они почти что люди, они все... Им всем хорошо там, и только мне каждый раз все равно что снимают заживо кожу. Моя вина в том, что я родился младшим.

– В этом нет вины. Ты не можешь перестать быть младшим, Джон. Но ты можешь стать единственным.

– Для этого мне пришлось бы убить всех троих...

– Для этого вообще не надобно убивать. Достаточно оставаться, кем ты есть. Можно стать единственным отдельно от всех них, самому по себе.

– Но кто я есть, отец Джейми? Ничтожней меня не сыщется человека...

– Тут ты не прав. Ты умен – и определенно умней твоих братьев, судя по тому, что ты о них рассказывал... да, даже и старшего – тоже. Ты силен и ловок, хотя изящного сложения. У тебя правильные черты лица. Глуп тот, кто говорит, что монаху все эти дары ни к чему. Нельзя принести в жертву Господу нестоящее – ты отдаешь ему драгоценное, и Господь примет тебя.

Я пал духом. Слова Адама стерлись в моей памяти. Чего мне ждать? Господин граф Босуэлл отличается завидным для своего возраста здоровьем. И на земле на него управы нет, как явственно показал король. Стало быть, ждать управы на небесах?

– Сколько времени тебе нужно, чтобы подготовиться, чтобы решиться? Тогда ты будешь защищен от него навеки.

Это бы всё решило? Да, это бы решило всё. Вот и закончилась, не начавшись, твоя мужественность, Джон Хепберн, твоя жизнь воина и рыцаря. Серый капорон и тонзура – облик грядущего.

– Дайте моим ранам затянуться, а после я буду ваш.

Он взглянул на меня с укоризной:

– Не мой, но Господень.

И оставил меня в покое – снова наедине с книгами, легкими осенними вечерами, одиночеством кельи, ибо мальчика, который делил со мною мою, забрали с обучения домой. Рыбные садки – я проводил достаточно времени, наблюдая, как жирные спины карпов и их жадные рты чередуются у поверхности воды, ожидая корма. Сентябрь бледнел, желтел, алел листьями деревьев по четырем сторонам двора. Птицы небесные, во имя которых была поставлена церковь аббатства, слетались на крошки, оставляемые им после трапезы. Вот так и я – от любви людской мне остаются только крошки, уроненные со стола, отчего же я медлю припасть к стопам Питателя всех, и более ни о чем не крушиться? *Проклят человек, который надеется на человека.* Я надеялся на кровные узы, и где я теперь? Может, именно здесь мне и место? Настолько несуразному, что смертная семья бесконечно отторгает меня? Не верный ли это знак, что место мое – не среди людей? *Всевышний Боже славный, освети тьму сердца моего и дай мне истинную веру, ясную надежду и совершенную любовь, разумение и познание, Господи, чтобы исполнил я Твое святое и истинное призвание.*

В чем мое истинное призвание?

В чем?

Желтый лист липы упал на воду пруда, с ним рядом – красноватый лист дуба. Плеснул карп в садке, обиженный отсутствием еды. Прошуршала ряса, кто-то уселся на скамью рядом со мной. Я смотрел на воду, как будто в плесках откормленных рыб ожидал знака Господня. А его все не было. Человек возле меня кашлянул в рукав, помолчал, спросил:

– Ты готов?

Пусть это будет знак.

– Да, отче. Сердцем я с вами.

Назначено было на третьей декаде октября. Я и посейчас думаю, что гонец оказался допущен ко мне ошибкою. Что знай о том отец Джейми, он задержал бы весть, чтобы она настигла меня уже после пострижения, когда все земное окончательно стало бы мне чуждо. Но у Господа Бога нашего великолепное чувство юмора, хотя и несколько жесткое временами – и Он не был намерен даровать мне спокойствия. Говорят, будучи отправлен восвояси, гонец стучал в ворота и орал так, что отец-привратник, грузный брат Варфоломей, грозился позвать приставов, а то и выйти, в нарушение обета, за стены да и навалить дерзкому по шее – пусть бы и была ему за то епитимия хладом и гладом. Хотел бы я посмотреть, как бы это ему удалось, ибо гонец был никто иной, как доверенный слуга графа Босуэлла – Йан МакГиллан. Йан требовал встречи со мной, как если бы все демоны Хайленда, все кровные враги клана Кэмерон мчались за ним по пятам, и только я один должен был его спасти, дать ему утешение. Но на деле он сам нес утешение мне. Рубаха взмокла, боннет сидел на затылке, алые цвета его септа в тартане – и те казались поблекшими. Лицо МакГиллана было серым – от дорожной грязи, от усталости и от чего-то иного. Так смотрит в будущее человек, крайне в нем неуверенный.

Преклонил колено, чего не делал никогда прежде, и протянул пакет:

– Мастер Джон, господин граф требует вас обратно в Хейлс.

Но это был другой господин граф.

Восковая печать с фамильным гербом. Строчки прыгали у меня перед глазами. Новая печать, наверное, еще у чеканщика. Какие мелочи приходят в голову, когда не можешь осмыслить главное! Я запомнил этот день – восемнадцатое октября. Он мертв. Патрик Хепберн, могучий и сильный, первый граф Босуэлл, лорд Хейлс, Хермитейдж, барон Крайтон, лорд-адмирал Шотландии, хранитель Трех марок королевства скончался от удара вчера посредине дня. Погребение готовится в Хаддингтоне, в часовне церкви Девы Марии, и состоится через три дня, ровно в тот самый час, когда мне надлежало принять монашеские обеты.

Он мертв, и меня вывели из низших кругов ада, ибо никогда более душа моя не узнает подобного ликования. Ни даже в тот день, когда Иисус в самом деле воззовет к мертвым, и они восстанут – когда я смогу наконец увидеть, как душа отца моего, корчась, заново пропадает в этом самом аду. Благословение Богу, он мертв...

Я отстоял в монастырской церкви двенадцать часов кряду на коленях, молясь, и братия шепотом обсуждали мою сыновнюю скорбь и мое благочестие. Как бы не так. Я возносил Творцу лютую радость сердца моего.

Единственное, о чем я жалел – что не убил его сам.

Бывало так у вас, что земля под ногами накренилась, и вы потеряли чувство почвы, и подсечка легла под колени? Нечто подобное случилось и со мной. Свободен, внезапно свободен, как будто последняя привязь к земле оборвалась, свободен и, вместе с тем, не мертв. Как такое возможно? Я полагал обрести свободу только смертью мирской, принятием обета, и теперь был ошеломлен, выбит из седла, повержен... я не знал, куда мне идти. И потому пошел к отцу Джейми.

Он писал – так случалось, что он все время писал, когда я входил к нему, потому что для молитвы были иные часы – и я приобрел эту привычку от него. Худое лицо, освещенное искренней радостью познания, глаза с искорками тепла, узкий в спинке стюартовский нос.

– Доброго дня, Джон... – и, поскольку я все молчал, – ну же, с чем ты пришел?

– Прошу дозволения уехать, милорд настоятель.

Он отложил перо, не веря ушам своим, переменясь в лице, словно облако затмило солнечный свет:

– Уехать? Ты? Куда?! Что тебе понадобилось вне стен монастыря? Ты призван к пахоте, но снимешь руку с плуга?

Маловероятно, что ему невдомек, о чем сутки шепчется вся обитель. И все же я произнес, мне было важно, чтоб воля моя прозвучала, возможно, тогда бы я стал уверен в себе:

– В Хейлс и затем в Хаддингтон. Мой... Граф Босуэлл скончался. Брат требует, чтоб я был при нем.

– И ты хочешь ехать? Постриг назначен же через три дня...

– Я вернусь после похорон, отче.

– Не понимаю, к чему тебе вообще уезжать. Видел ты от покойного графа Босуэлла что-нибудь доброе? Разве ты не отринул это родство, выбрав подлинное – с Отцом Небесным? Кто он тебе, Джон, что ты собираешься проводить его в последний путь?

Он – мой враг. И я хочу увидеть мертвое тело моего врага. Но, конечно же, я не мог сказать этого вслух.

– Я в самом деле вернусь.

– Ты так говоришь, словно... В сердце твоём нет истинной решимости, Джон, это при-
скорбно.

Но на деле прискорбным было совсем не это, а то, как мановением перста Господня пере-
менилась вся моя жизнь. Лучше мне было не выходить за ворота.

Поля полнились туманом. МакГиллан привез мне узел мирской одежды, не было нужды оказаться в седле в сутане. Впервые за полтора года я путешествовал по знакомой каждой кочкой дороге с удобством, и нам еще повезло, что дождь не застал в пути.

– Как это случилось, Йан?

Странно он, должно быть, себя чувствовал, рассказывая о покойнике. Я впервые задался вопросом, а привязывало ли МакГиллана к нашей семье чувство или только невыплаченный долг? И где он поставил предел суммы долга, если последнее.

– Я сам при том не был, мастер Джон. Его милость господин граф отужинали, говорили затем по обыкновению с мастером Адамом. Мастер Патрик пришел. Они заспорили. Посетила их госпожа графиня. Господин граф был порядком гневен... орал люто и долго. Потом хватанул со стола кувшин с вином, хлебнул, тут и упал замертво. Багровый, говорят, был лицом, и перекосило его. Еще чуть шевелил правой рукой недолго, а потом и всё.

По злой иронии, священника поблизости не оказалось – отца Катберта граф выслал в Крайтон еще при свадьбе Маргарет. А потом и всё, как сказал горец, ни исповеди, ни причащения. Какая стыдная и грешная смерть для такого властного человека, как он.

Земля была сыра, и влага от нее поднималась клочьями, складываясь, сгущаясь в ручьи по дну оврагов. В полях кое-где попадались пятна жнивья. Солнце садилось, делая краски вокруг из серых, желтых, коричневых алыми и багровыми. Туман отсвечивал розовым. За ручьем Олдхейлсберн на холме меня больше никто не ждал. Влага заползала в рукава, пропитывала плащи, покрывая тело липким ознобом.

И тут, уже в виду ворот Хейлса, все-таки хлынул дождь.

Шотландия, Ист-Лотиан, Хейлс и Хаддингтон, октябрь 1510

Хейлс казался иным. Смерть осеняет все, когда о ней известно. Будь я в неведении, наверное, не подметил бы перемены, хлопоты на дворе и в холле кипели вроде те же самые, что обычно. Медленнее? Глуше? Мне показалось? Нет, теперь я знал, кого здесь не хватает. Теперь эти хлопоты были в последний раз для того, кому уже не нужно и вовсе никаких хлопот. Запах ладана от рук отца Катберта, возвратившегося слишком поздно, мерная латынь, глухое покашливание старика через каждый десяток слов.

Лежа в гробу, он был жалок. Но я и сам стану таков, когда окажусь в гробу. От мертвого тела трудно ожидать истинного величия. И вот это, хрупкое, на себя непохожее, уже смердящее

– средоточие всех моих страхов? Вид мертвого, церемония похорон, на мой вкус, неопровержимо свидетельствуют о существовании души, сразу понимаешь: вот то, что отличает тело от человека, то, что оживляет его – то, что уже исчезло. Хороня, мы хороним для себя свое прошлое, ибо душе все равно, она уже с Господом – или там, куда Он ее назначит. Где яростный дух, пожиравший меня из этой оболочки? Отлетел, а на то, что осталось, я смотрел с чувством гадливости и удивления – и эта кучка праха внушала мне такой ужас, была причиной таких страданий? Оттуда, из этой мертвечины я хотел одобрения и любви?

А на другой день прибыли дядя из разных концов страны, съехались кузены и родичи со всего Ист-Лотиана – и тело повезли в Хаддингтон. И там звонили колокола, и епископ Островов служил мессу, и нищим бросали мелочь на помин души Патрика Хепберна, раба Божьего, ушедшего не в мире и без покаяния.

Как я смеялся! Боже ж ты мой, как я смеялся на этих лучших в моей жизни похоронах! Я корчился от смеха, закрывая лицо руками, и ничего не мог с этим поделать. И только леди-мать поняла, в чем дело – глаза ее явственно отражали то, что она обо мне думала. Unblessed hand фамилии Хепберн, чуть было не ставший монахом, не в силах сдержаться на похоронах собственного родителя! Что ж, если ее так заботило нарушение приличий, не стоило и вовсе производить меня на свет. Ибо приличия – то, от чего я всю жизнь держался подальше, меченый пес в породистой своре. Приличия никогда не совпадали со мной.

Факелы сопровождали первого графа Босуэлла в последний путь, факелы горели, когда в молчании мы возвращались обратно – так, словно оставили в Хаддингтоне нечто большее, чему названия нет.

Братья покойного, помимо братьев – Хепберны Ваутона, Уитсома и Бинстона. Помимо кузенов, еще мужья дочерей. А, нет, молодого Дугласа не было, был только Джордж Ситон, и обе наших сестры с кинсменами мужей. Но Хепбернов, конечно, больше, гуще всего. То оказался последний сход нашей фамилии в полном блеске на ближайшие двадцать лет, но об этом тогда еще никто не догадывался. Всех смело течение времени, не только погребенного мертвеца. За поминальным ужином в Хейлсе я думал о том, как резко сместилась ось моей жизни, встала в новые пазы. Вот снова я не пойми кто, но уже – еще – не монах. Адаму девятнадцать, он не только не женат, но даже и не помолвлен. Если покойный имел какие-то виды на брак старшего сына, самого сына он об этом не осведомил, и теперь Адам – граф, при троих прямых наследниках. И в эту череду входил также и я. Как мне теперь вернуться в монастырь? И надо ли? А главное, что мне теперь даст Адам? *Что он мне даст?* И, вы не поверите, ровно тот же вопрос читался на всех, всех лицах в зале. Правление нового Босуэлла начиналось. Кроме, разве что, чела леди-матери... взгляды наши соприкоснулись, когда грузный, хмурый Крейгс, прекрасно понимавший, что нас теперь ждет, поднялся с чашей сказать несколько слов. Там было торжество, в ее взоре, обращенном на меня. Весьма странное чувство для свежееспекенной, неутешной вдовы, что и говорить. Возможно, мне показалось. С другой стороны, она имела право торжествовать: вся власть, вся сила, все могущество, созданные покойным Босуэллом, теперь отошли новому графу – ее плоти, ее старшему, возлюбленному, благородному сыну.

Нам не выпало поговорить с Адамом до похорон, да и после складывалось с трудом. Глядя на его осунувшееся лицо, запавшие, покрасневшие от недосыпа глаза, я понимал, что история разворачивается для него слишком быстро. Нет, он не скорбел – никто из нас не скорбел, ни даже Патрик, любимчик покойного лорда-адмирала – тот был немного ошарашен, ошеломлен... однако скоро выправился. Адама, как настоящего Хепберна, невозможно было выбить из седла, хотя Джоанна и попыталась.

Существенно на сносях, живот разве не выше носа, однако рискнула ребенком, приехала и, кажется, горевала больше, чем все мы, взятые вместе, за исключением, разве что, Мардж. Вообще с нежностью от дочерей покойному Босуэллу явно повезло больше, чем с памятью сыновей. Нежность, впрочем, не помешала ей вцепиться в нового графа с хищностью голодного клеща, речь шла все о той же мельнице Уинтона – хороший кусок, жирная рента с надела.

Адам, теперь внезапно глава семьи, соболезнования принял и выразил, однако с Уинтоном отказал – мягко, довольно определенно, ссылаясь на то, что вести подобные разговоры теперь, когда тело отца едва остыло, явно не ко времени, что семья не поймет его:

– Я не могу разбазаривать земли фамилии только потому...

– Что ты мой брат?

– И поэтому тоже. Вдобавок, я еще не в правах наследства, и ты это знаешь. Землей распоряжается леди-мать.

Лучше бы он прямо послал ее к черту. Впрочем, Джоанна так и поняла.

– Хорошо. Я вернусь к этому разговору, когда ты будешь в правах наследства.

– Несомненно, сестрица, несомненно.

Джордж Ситон – вот тот определенно осознал. А я смотрел и диву давался. Не сказать, чтобы мне это нравилось, однако же он был прав. Джоанна уехала, не дожидаясь окончания пира. Она стала первой отошедшей среди своих.

А три дня, данные мне отцом Джейми, между тем истекли. Я сложил в седельную суму рясу и капорон, полагая переодеться из мирского уже там, за стенами. Прощаться мне не хотелось, уж лучше убраться незаметно, странность внешнего вида матери еще витала в моей памяти, а Адам так и не выбрал времени подробно поговорить со мной – даром, что сам вытребовав письмом обратно. С Мардж я уже простился, одна из всех нас, она выглядела по-настоящему опечаленной. Патрик был зол на смерть отца, Уилл пришиблен тем, как быстро все поменялось, Адам сосредоточен, словно в бою, в своей новой роли, Джоанна уехала, не прощаясь... как быстро посыпалась по камешку не сама громада Хейлса, Хейлс-то будет стоять вечно, но как скоро распадался Хейлс незримый, Хейлс внутри нас. Об этом я и размышлял, подтягивая подругу галлоуэя, когда промозглым утром после похорон рука старшего брата легла мне на плечо. Адам, кажется, смотрел на меня с неподдельным интересом:

– Куда ты собираешься?

– В монастырь.

– Теперь? Но зачем?!

– Я обещал...

– И что?

Вот как, оказывается! Можно не держать обещаний. Сэр Адам, мастер Босуэлл, не одобрил бы такого поведения, но милорд Адам, граф Босуэлл, счел совершенно естественным. Видимо, мой взгляд сказал старшему достаточно. Он что-то смекнул, кивнул:

– Подожди. Я поеду с тобой. У меня есть дела в городе.

Оседлали быстро. И двадцать человек ребятков следом за нами – так, на случай, и до сих пор пришибленный Йан МакГиллан, как пес, потерявший хозяина. Казалось, если б ему позволили, он бы отправился в хаддингтонскую церковь быть на могиле господина – кто их знает, этих горцев. Но мы с братом молчали всю дорогу до Эдинбурга, не считая привала, чтобы перекусить. Для разговоров ни одному из нас не хотелось открывать рта.

Шотландия, Мидлотшиан, Эдинбург, «Светоч Лотиана», октябрь 1510

Под свод монастырских врат Адам Хепберн вошел самым смиренным образом, приложился к образу Богородицы, перекрестился на святого Франциска. Слова не скажу, в новом

качестве он был очень красив: высокий, статный, темноволосый, синеглазый, полный жаркой силой юности. Но я лично уже начинал подозревать, что учтивостью дело не обойдется. И – о да – он пустил в ход шарм.

Отец Джейми, год назад повидавший матерого волка, с изумлением теперь взирал на вторжение сеголетка. Держу пари, он не мог понять, что именно к нему явился торговать второй граф Босуэлл из того, чего не сторговал первый... однако Адам не дал ему времени на раздумья.

– Благослови вас Бог, граф... чем обязан таким вниманием?

– Сожалею, что оторвал вас от благих помыслов и чистых размышлений, милорд настоятель...

Ах, как они хороши были оба, лицемеры!

– Однако не мог не выразить свою признательность лично, – и голову, голову склонил старший братец.

– За что же?

– Вы много сделали для моего брата, преподобный отец. Вы дали ему приют и отеческую заботу, которой он, к прискорбию, был лишен в родных стенах, вы озаботились его образованием, вы...

– Полноте, – отец Джейми улыбнулся улыбкой, какая обычно предвещала выволочку прощтрафившемуся. – Я делал только то, что и всегда. Только то, что и для всех... что сделал бы для любого из сирот, вверенных моему попечению.

– И это особенно ценно – сознание, что благо вашей заботы не покупается ни властью, ни мирскими соблазнами. Все же я позволил себе – в знак почтения к обители – в свой черед слегка позаботиться о благополучии братии...

Теперь я понял, что так споро таскали со двора Босуэлл-корта на подводы сопровождающие молодого графа ребятки. Мука, мед, зерно, вяленая оленина. Адам заплатил отступного! Не прямо, косвенно, от прямой проплаты отец Джейми уклонился бы. И все это богатство, я видел в створе окна, теперь сгружалось довольно потиравшему руки келарю под своды монастырского амбара.

– Что ж, премного благодарен. Постриг, – отец Джейми бросил орлиный взор на меня, – по-прежнему через три дня, Джон, считая нынешний, день твоего возвращения. Неимущие Эдинбурга восславят вашу щедрость, господин граф, в час, когда ваш брат родится для жизни истинной...

– Так пострига ведь не будет, – прервал его Адам оскорбительно прямо. – Разве я не сказал вам? Я забираю Джона из стен монастыря по собственной и семейной надобности.

Упала тишина. Слышно было, как гроздь перезрелой, подмороженной рябины срывается с бурой ветки, вламывающейся в окно, как кровавым пятном летит и ударяется о землю.

Наконец отец Джейми, заложив руки за спину, спрятав кисти в рукавах сутаны, словно ему хотелось ударить собеседника, уточнил:

– Правильно ли я вас понял, пострига не будет?

Смотрел он при этом на меня – так, словно сжигал взором дотла, мне же было совестно поднять взгляд от пола. Я ощущал себя клятвопреступником, воспользовавшимся убежищем, а затем осквернившим его.

– Правильно. Такого было желание нашего покойного отца, однако...

– Однако сам Джон не далее, как неделю назад, явно выразил мне свою волю покинуть мирскую жизнь!

– Ему нет четырнадцати лет, ваше преподобие. Вы не можете постричь его в монахи без согласия опекуна. А я вам такого согласия не давал.

Брат духовны й и брат по плоти схлестнулись.

– Что ж... граф. Вы лишаете любимого брата жизни благой – ваше право. Теперь – пускай. Но я не хотел бы, чтоб вы стояли между ним и Господом и после того, как он достигнет четырнадцати. Странная у вас семейка – отец стремился постричь, как можно ранее, вы столь же явно упорствуете...

– А в четырнадцать – это уж как он сам захочет. Весьма вам признателен за все заботы о Джоне, но сейчас он нужен мне в Хейлсе. Всего доброго!

Адам повернулся на каблуках и вышел. Я, помедлив, поцеловав настоятелю руку, пошел за ним. Отец Джейми смотрел нам вслед. За последний год он видел в своей приемной уже второго Босуэлла, и нравился он ему ничуть не больше, чем первый.

Озадаченные братья во дворе перешептывались, глядя, как мы выходим. Моросил дождь. Я сел в седло, куда не чаял вернуться так скоро, с таким облегчением, словно скинул с себя вес всей тверди земной. Неужели и всё? Вот сейчас – всё?! Но я еще не верил ни себе, ни ему. Мы молчали до тех пор, покуда кавалькада, поднявшись на север до Королевской мили, не свернула в сторону Босуэлл-корта. Тогда и брат мой повернулся ко мне. Ястребиное перо, свисавшее с боннета до плеча, набравшее влагу октября, на плече тяжелая брошь, скрепляющая плащ, на груди – та самая цепь, та самая, лошадиная голова, кровавый рубин в глазу лошади. Символ неодолимой власти, каинова печать Босуэлла, убийцы и делателя королей. Зачем он носит ее?

– Запомни этот день, младший брат. И оглянись. Зачем *э*то тебе?

Я молчал, оглушенный тишиной внутри меня самого.

– Вот тебе полгода свободы. Если потом решишь, что тебе это нужно – я не неволю. Я соглашусь. Но реши это сам. Не отец за тебя, не мать, не я... только ты, Джон.

То решение, которое мне было не под силу принять, он принял за меня. За этим и нужны человеку его близкие. Любящие нужны, чтобы в минуту слабости стать гласом Божиим.

В моей памяти растворилось даже лицо отца Джейми – то, побледневшее, когда он понял, что я ускользаю. Все это не имело теперь значения.

Теперь я свободен.

Теперь любовь Господнего мира обнимет меня и вознесет на крыльях.

Шотландия, Ист-Лотиан, Хейлс, декабрь 1510 – март 1511

Я пробудился с тяжелой головой и сел, толкнув ставню окна, уставясь на белизну снега снаружи. Мое окно в Восточной башне нынче выходило не на Тайн, а на двор, теперь я просыпался в прежней комнате сестер, отведенной мне. Я тряс головой, пытаюсь вышвырнуть из памяти ключья дурного сна, зубы сами собой стучали в выставшей за ночь спальне, но и не только от холода.

Опять мне снился турнир.

Тот самый турнир на свадьбе Джоанны, перед которым он избил меня. Турнир, которого я не видел.

Каждый божий день начинался одним и тем же. Проснувшись, я макал лицо в бадью холодной воды, дрожал, хватался за сухое платье, понукая мальчишку Мэтью, приставленного ко мне слугой, скорей шнуровать дублет и штаны, натягивать сапоги. После, шепча молитву, протискивался в штольню лестницы, спускался вниз, во двор и, как в ту воду, окунался в многоголосое копошение людей на дворе, в свежесть декабрьского утра. Цепочки черных следов на свежем снегу намочали, пятнали непорочную белизну листа новой страницы жизни, как пятнает их сейчас строка моих воспоминаний – и я переворачиваю листок... Я брал арбалет, в наших краях называемый «щеколдой», ставил мишень к стене амбара, разносил ее в щепки почти не глядя. Мэтью, спотыкаясь от усердия, тут же притаскивал новую... Ни Уилл, ни Патрик не могли тягаться со мной в меткости. Но они и не видели на месте грубой деревянной фигуры призрака собственного отца.

Еще не минуло сорока дней, сумрачная душа его привычно навещала родные стены. Когда уже ад возьмет его целиком? А, главное, мне предстояло дальше жить с тем, что я не любил его, а он не любил меня. И что этого уже не изменишь. Напрасно же он повадился приходить ко мне – я не верю в призраков. Никто не возвращается оттуда, откуда возврата нет. Земля холмов не исторгает то, что впитала – ни семя, ни кровь, ни душу. Но когда его не стало, он стал являться мне чаще. Большею частью, во снах. Та часть его семени, которая была в моей крови, которую я отрицал, прорастала – корни и ветви – сквозь всю мою плоть, образуя сеть, в которую улавливалась душа. И еще он говорил – то же, что и при жизни:

– Ты ничего не стоишь. Ты никому не нужен. Ты ни на что не годен, Джон Хепберн.

Они металлом звучали во мне, эти слова.

Каждый бож

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.